Борис Васильев
Вам привет от бабы Леры

ISSN 0130-741X

НЕВА

2 | 1988



Владимир Ляленков
Армия без погон

ВОСПОМИНАНИЕ

...Окна здания барачного,
в палисаднике — березы.
Дискобол, с рукой утраченной,
загипсован в трудной позе.
Неких ящиков горение —
запах с примесью резины.
Где-то там, у края зрения —
промелькнувшая дрезина.
Провода с какой-то птицею,
наблюдающей в веселье,
как работники милиции
на таежника насели.
Как он рьяно вырывается!
Как он, верно, любит волю!
Но бузить не полагается,
даже если — после поля.
Где, ища запаса рудного
для страны и для народа,
ничего такого людного
не видал уже полгода.
...Почему мне это помнится
через годы-расстоянья,
и душа обидой полнится
при одном воспоминаньи?
Не ко мне ли эти санкции
очень грубо применяли
на забытой богом станции
Транссибирской магистрали?

НА ПРИЕМЕ

— Ну, что за проситель?
— Пракситель.
— Уж больно орать он здоров!
Чего ему надо?
— Простите,
и этот насчет мраморо́в...
Уж я ему — как человеку:
мол, нету паросских пород.
Все отдано пятому веку,
а он из четвертого прет!
Поверили ж Фидий и Мирон,
что мрамор отправлен в шестой,
лишились сознания мирно,
а этот — настырный такой!
— Так как его звать-то?
— Пракситель...
— Ну что же,
прощай не прощай...
Вы этих двоих выносите,
а после заходит пущай!

◻ ◻ ◻

Неспроста расползались когда-то
совокупные материки:
расползались в преддверии даты,
что наступит, всему вопреки.
Торопились свирепо и слепо,
выгрызаясь из общей брони,
обрывали сосуды и скрепы,
размягчая в базальте клешни...
А Земля — в мезозойском обилье:
нету счета телам и стволам...
Для чего ж растащили, укрыли
семя жизни по разным углам?
То планета учуяла разум
и себя в пятипалой горсти.
Чтоб не разом,
чтоб все же — не разом,
чтоб хоть толику жизни спасти.
А еще и не пахнет приматом,
тьма веков до разумных, до нас...
Рановато, Земля, рановато...
В самый раз, говорит, в самый раз...

◻ ◻ ◻

Срок пришел, и вымерли рептилии,
ничего в природе не нарушив.
Захлебнулись тяжкие флотилии,
танки-туши замерли на суше.
Ничего никем на них не сброшено,
в жвачку не намешено отравы —
пали, эволюцией подкошены,
в некий час, безжалостный и здравый.
А такое — разве же предвидели
эти туши из болот минувших?
Срок придет, и вымрут все властители,
ничего в природе не нарушив.



Рис. Л. Московского

1

— Вам привет от бабы Леры...

Уж сколько лет прошло, а я до сей поры слышу эти слова. Они звучат в телефонной трубке то мужскими, то женскими голосами как пароль странного братства незнакомых людей, как сигнал из одиночества. Как отзвук неистового, вечно юного «Дае-ешь!», бешеного топота копыт, звона клинков и грохота торопливых выстрелов.

— Баба Лера, неужели вы стреляли из маузера?

— Вам трудно представить, что у этакой засохшей старушенции хватало сил надавить на спусковой крючок? А я на пари дырявила пятак, но всегда почему-то промахивалась в людей.

Баба Лера... Вечная полуулыбка на запавших губах, добрые морщинки и горькие глаза. Горькие даже тогда, когда баба Лера смеялась, а она очень любила смеяться.

— Знаете, Алиса Коонен рассказывала мне, что шестнадцати лет начала дневник с фразы: «Я очень хочу страдать». Смешно, но я тоже решила вести дневник в шестнадцать, но начало у меня было иное: «Я очень хочу умереть счастливой...» Мечтания гимназисток выпускного класса.

Шел тысяча девятьсот шестьдесят третий год, первое лето нашего знакомства. И на следующий день после разговора о девичьих дневниках и мечтаниях я пошел за четырнадцать километров в Красногорье. Я купил самую толстую тетрадь, какая сыскалась, вывел на титульном листе «ДНЕВНИК» и сам написал первую фразу: «Дорогая баба Лера! Живите долго и долго дарите людям счастье». Баба Лера неторопливо надела очки, внимательно прочитала восторженное вступление. Затем столь же неторопливо сняла очки и задумчиво постучала ими по тетради.

— Дарить счастье — это талант, а талант всегда живет меньше, чем надо. И вообще мне кажется, что следует прибавлять жизнь к годам, а не годы к жизни, уважаемый Борис Львович.

Баба Лера всех называла по имени и отчеству, делая исключение лишь для единственного человека — для Анисьи или Анюхи Поликарповны, как та сама себя иногда величала. Она звала ее Анишей, хотя сама Анисья обращалась к бабе Лере с крестьянской обходительностью: «Леря Милентьевна». Анисья была моложе бабы Леры — ей было пятнадцать, когда ее сослали, шестнадцать, когда посадили за побег из ссылки в родное село, в восемнадцать, когда «навесили» еще десятку за немыслимый по дерзости отказ удовлетворить естественное желание начальника конвоя,— но, шагнув из отрочества в ссылку, тюрьмы да лагеря и выйдя оттуда уже старухой, она ко всем обращалась только по имени, либо — «начальник», если очень сердилась.

Она мне упорно напоминала лошадь. Не исполненную грации и животворной силы кровную кобылицу, а заморенную, мослаковатую, с екающей селезенкой несуразную крестьянскую Савраску. Лошадиными выглядели даже ее руки: тяжелые, длинные, в узлах вздувшихся вен; лошадиной была сутулая костлявая спина, тоскливые, глубоко проваленные глаза и те четыре зуба, что еще сохранились чудом каким-то. Четыре желтых, больших, как стамески, резца в верхней челюсти, которыми она не жевала, а скоблила хлеб или картошку, совсем по-лошадиному мотая при этом головой.

— Аниша, ты бы вставила зубы.

— Ништо, господь и такую примет, не обознается.

— В рай метишь?

— А куда ж меня еще, Леря Милентьевна? Я в жизни не по своей воле грешила. А по своей всего один разочек, один-разъединственный за все зимы мои.

Анисья считала не годами, не летами, а только зимами: «мне, почитай, сорок девять зим намело, так-то».

— Сорок девять лет?

— Зим, милай, зим. Это у вас — леты, а у меня вся жизнь — вьюга да мороз. Стало быть, зимы и надо считать.

Спорить с нею было бессмысленно, ибо она не признавала никакой логики, и сама баба Лера отступалась, когда коса находила на камень. А такое могло случиться вдруг, совершенно непредсказуемо, от мимолетной интонации или случайно сорвавшегося слова. Тогда Анисья Поликарповна замолкала и долго глядела на провинившегося тяжелым изучающим взглядом. Тот порою не замечал этого, продолжая болтать, но баба Лера мгновенно ощущала силовое поле протеста, исходившее от Анисьи, и пыталась вмешаться.

— Аниша, пожалуйста, завари свежего чаю.

Если Анисья безропотно брала чайник и уходила, значит, вина гостя была еще невелика: Поликарповна отругивалась в одиночестве и возвращалась к столу. Но иногда спасательный круг бабы Леры ничем уже помочь не мог: у Аниши белели ноздри.

— А спать будешь с комарами!

— Аниша, помилуй, он же все-таки гость.

— Гость? — Анисья вставала, крепко хватив ладонью по столу.— В глотке кость, а не гость! Ступай отсюдова, чего расселся?

— Аниша, оставь, пожалуйста.

— Леря Милентьевна, ты меня знаешь: я за тебя в твой гроб лягу и твоим саваном укроюсь,— проникновенно начинала Анисья и тут же срывалась на крик: — Ты глаза разуй, сестричка-каторга! Да он либо сам лягавый, либо вертухая какого сынок единственный! Ишь глядит скверно-пакостно! Пошел вон, кому говорено? Пошел, пока я тебя в Двину не вдвинула!

Однако буйствовала Анисья не так часто, как можно было бы предположить, зная ее неукротимый нрав и высшее зековское образование. Порою ей было просто некогда негодовать: она ни секунды не сидела без работы, точно стремилась добровольным трудом компенсировать то многолетнее унижение, которое вынесла ее душа от труда подневольного. Она делала по дому, вокруг дома, на огороде и во дворе все, что только замечали ее ненасытные кулацкие глаза, и баба Лера смогла оставить за собою дела кухонные, единожды вполне осознанно обидев женскую душу преданной Анисьи:

— Ты уж меня извини, но готовить буду я. У тебя, Аниша, отрава, а не еда.

Анисья поплакала и сдалась, и таким образом хоть что-то в их доме было исполнено не ее руками. Еда, соленья, варенья да шитье, штопка и починка одежды и белья стали привилегией бабы Леры, и добрая Анисья не забывала восхищаться каждым обедом. Она вообще восхищалась своей «Лерей Милентьевной» безмерно, чистосердечно считая ее образцом, посланным людям на землю для примера, и жарко молила бога об одной милости: помереть раньше бабы Леры. И бог услышал ее молитвы.

Я пишу так подробно об Анисье, потому что мне многое рассказала баба Лера в то последнее лето, когда осталась одна. Баба Лера, видимо, чувствовала, что лето и впрямь последнее, что ей не пережить зимы, но относилась к этому спокойно. И наотрез отказалась перебраться в Красногорье, на главную усадьбу, а тем паче — в город.

— Нет, нет, Владислав Васильевич, и не просите, и не соблазняйте,— улыбалась она, безостановочно встряхивая седой головой — непроизвольный жест, который появился после похорон Анисьи.— Я с Анишей душою срослась, куда уж мне без нее? Каждый день на могилу хожу и с ней разговариваю. Рассказываю, как чувствую себя, как день прошел, что в мире нового. Смешно, правда? Понимаю, а у меня — потребность. Особенно, как что-нибудь про Китай услышу: Аниша последнее время что-то на Китай сердилась.

— Да как же я могу вас тут одну оставить? — вздыхал секретарь райкома, специально прикативший уговаривать заупрямившуюся бабу Леру.— Если желаете, мы Анисьин прах перевезем.

— Ни под каким видом! — баба Лера сердито постучала по столу маленькой иссохшей ладонью.— Тут ее земля. Она сама мне место указала.

— Для вашего спокойствия хотел.

— А что до моего спокойствия, то пообещайте меня рядом с Анишей положить. Звезда и крест в одной ограде — знаете, это даже символично.

Через пять лет после знакомства я привез к недавним каторжанкам Владислава Васильевича: в то время он заведовал культурой в районном масштабе. Я рассказал ему о бабе Лере и Анисье, и он тут же собрался к ним. Сгоряча я согласился, а пока ехали, одумался и — испугался. Испугался, что Анисья учует в симпатичном мне Владиславе невыносимый для нее «номенклатурный» дух и без всяких околичностей «вдвинет в Двину». Но мы уже катили на райкомовском «уазике» по кривым дорогам Задвинья и поворачивать было поздно. Владислав что-то увлеченно говорил о деревянном зодчестве, а я страдал, предчувствуя бурю.

Предчувствие меня не обмануло: как на грех, мы попали в один из тех злосчастных дней, когда Анисья напивалась. Такое случалось два-три раза в месяц, напоминало запой, но редко продолжалось более суток. Однако эти хмельные сутки были Анисьиным днем: она не слушалась даже бабы Леры, и поведение ее было изощренно капризным. То она начинала страдать и убиваться по причине загубленной жизни, то извергала лагерный мат, то радовалась, как все прекрасно устроено богом, а иной раз начинала и сосредоточенно точить нож, чтобы раз и навсегда покончить счеты с этой... так ее и разэтак... жизнью. В таких случаях посторонним не рекомендовалось подвертываться под тяжелую Анисьину руку, а нас, как нарочно, поднесло в самый неподходящий момент.

— А, начальники! Учуяли, где на дармовщинку можно глотку сполоснуть?

Анисья сидела за столом в одиночестве. Перед нею стояли початая бутылка водки, стакан и миска с осклизлыми груздями прошлогодней засолки. Бабы Леры поблизости не было — как видно, она бойкотировала этот загул,— и я растерялся. Хотел спросить, где баба Лера, хотел прикрыть собою незваного гостя, хотел пристыдить Анисью, напомнив, как дорого обходятся ее запои «Лере Милентьевне». Хотел и не успел: Владислав Васильевич плечом оттер меня, сдернул кепку и поклонился с порога:

— Хлеб да соль!

— Ем, да...— Анисья вдруг раздумала отвечать обычной прибауткой.

Поморгала мутными глазками и, привстав, двинула налитый до половины стакан через весь огромный, рубленный топором на добрую довоенную семью, стол.— Угощайся, начальничек.

С хмельных глаз она устраивала гостю проверку. А я всю дорогу толковал о бабе Лере, так и не найдя времени сообщить об особой, болезненной обидчивости Анисьи. Но Владислав шагнул к столу, взял захватанный, мутный стакан и неторопливо, истово выкушал.

— С поклоном к вам и со здоровьем.

Анисья проморгалась, подумала, тяжело выбралась из-за стола и принесла чистый стакан. Один: я в зачет не шел. Владислав уселся напротив с таким видом, будто сто раз тут сидел, и пальцами — про вилки Анисья забывала и в трезвом состоянии — вытащил из миски комок слипшихся груздей. Анисья плеснула в стаканы, не ожидая гостя, выпила и, горестно подперев тяжелую, в седых лохмах голову рукой, хрипло завела:

Глухой неведомой тайгою...

Пока она неторопливо распевалась на первом куплете, Владислав хлебнул из стакана, закусил грибками, прокашлялся, продышался и серьезно, задумчиво подхватил вторым голосом:

Укрой тайга его густая,
Бродяга хочет отдохнуть...

Они пели неторопливо и проникновенно, будто не песня то была, а молитва. И отдавались этой молитве столь потрясенно, что из далекого конца дома вышла баба Лера, забыв про бойкот. И замерла на пороге, боясь помешать, отвлечь, нарушить это удивительное пение. И я стоял в полном онемении, потому что впервые, как мне тогда показалось, понял, что такое русская песня и почему она должна звучать не со сцены, а из-за стола. Анисья тряслась, шмыгая носом, и слезы текли по ее лошадиному лицу, а Владислав был где-то в далях и в нетях, и глаза его, глядя в упор на меня, видели что-то совсем иное.

Жена найдет себе другого,
А мать сыночка никогда...

— Понимаешь,— тихо сказала Анисья, когда они закончили песню и немного помолчали, ожидая, чтобы звуки утихли в их душах.— Понимаешь, я уж думала, подохли все, кто песню понимал. Ан нет, живы! Сейчас все хотят не своим голосом петь, а ты — своим. Ну, спасибо, ну, уважил, ну, дай, поцелую тебя.

Владислав подружился с Анисьей куда быстрее, чем я, хотя за мной во весь недосягаемый рост стоял авторитет бабы Леры. Аниша вынесла приговор сразу:

— Простой человек и, видать, бессердечный.

Я онемел от такой характеристики, баба Лера улыбнулась, а Аниша продолжала громко и невозмутимо пить вприкуску чай из блюдечка. Владислав только что уехал, и Анисья определяла, куда его отнести — к чистым или нечистым.

— Как так бессердечный? Да он...

— А так, что сердце ни на кого не держит, стало быть, бессердечный и есть,— пояснила она.

С того дня Владислав часто наведывался к старушкам: даже зимой умудрялся пробиться на вездеходе через замерзшую Двину. Следил, чтобы продуктов им подбросили, керосину да дров, хотел телефонный провод протянуть, да не успел... Наскакивал внезапно, на час-другой, и исчезал вдруг, но на неделе непременно звонил в Красногорье. И связь не обрывалась и длинными сумеречными зимами.

А я зимой у них никогда не был. Мечтал об этом, по возвращении от бабы Леры строил планы, но наступала зима, работа, московская суета, и мне все никак не удавалось выкроить недельку. А впрочем, мы всегда мечтаем с бо̀льшим энтузиазмом, чем пытаемся осуществить хоть что-то из своих мечтаний, и я не был исключением, красочно представляя себе двух старых женщин в желтом круге керосиновой лампы, уютное тепло раскаленной печи, сугробы до половины окон, нестерпимо белые снега да великую тишь за стенами избы. Не белое безмолвие Джека Лондона, а ту оглушающую русскую тишину, от

которой сходят с ума. И на четырнадцать верст вокруг нет ни одного огонька, а баба Лера негромко читает, часто останавливаясь, чтобы растолковать прочитанное темной сестре своей.

— Ты все поняла, Аниша?

— Серьезный человек Каренин-то этот, чего ж не понять. А офицеришко, поди, стервь, а? Задрал бабе подол, она и голову потеряла.

— Мне кажется, здесь все-таки сложнее. Женщина хочет любить, это ее право.

— Чего? — презрительно тянет Анисья.— Очнись, сестричка-каторга! Тебя блатняки с нар на нары передавали? Вот и вся наша любовь.

— Лагерь — зловонная яма на дороге. Кто перепрыгнул, кто упал, но все равно он — позади. А жизнь — впереди.

— Лагерь он и есть вся жизнь наша! — разозлясь, уже кричит Анисья.— Там даже лучше, если хошь знать, лучше, сестричка-каторга! Там все свою цену имеет, а тут — слова одни, а цены нет никакой...

Они постоянно спорили друг с другом, и последнее слово всегда оставалось за Анисьей. Но постепенно, год от года, от спора к спору было заметно, как мягчеет, оттаивает вечная каторжанка, в тугие пятнадцать лет познавшая всю звериную лагерную науку и не узнавшая ничего более. Ее сжигали старые обиды, она кричала, спорила, дралась и пила, не в силах понять, что обижаться уже не на кого. И хотя не было у нее спасительной мудрости бабы Леры, скандалы ее были кратки, обнаженны и отходчивы. И уже через час она с виноватыми глазами ластилась к своей сестричке-каторге, ибо во всем мире не было для нее никого дороже, святее и благороднее ее «Лери Милентьевны».

— Офицерье — они такие.

— Анна полюбила человека, а не форму. В те времена даже образованной женщине трудно было отстоять свое человеческое достоинство.

— Достоинство,— несогласно проворчала каторжанка.— Начальника лагеря на начальника конвоя сменила, дура, вот и все достоинство. А ребятеночка...— Аниша внезапно замолчала и зло нахмурила светлые разлапистые русские брови.— Ладно, читай уж.

И баба Лера безропотно начала читать; худенькая рука ее нашла жесткую жилистую ладонь Аниши и нежно поглаживала ее. А подруга курила папиросу за папиросой, и по остекленевшим глазам ее было видно, что до нее не доходит сейчас ни одного слова. Тогда баба Лера переставала читать, шла к тумбочке, где хранились лекарства, и, не отмеряя, наливала валерианки.

— Выпей,— обнимала за плечи вдруг окаменевшую подругу, тихо целуя в седую, редкую гриву.— Пожалуйста, очень прошу. А то и я вспоминать начну, и будем мы с тобой реветь до завтрашнего вечера. А что толку-то? Ну, ревут взахлеб две старухи — эка невидаль.

Иногда Анисья выпивала капли и мягчела, иногда решительно отталкивала протянутую руку и бежала во двор, где прятала свои бутылки. И начиналась пьянь, ругань и слезы.

— Пьем в скорбях о материнском праве,— объявляла баба Лера с грустной и одновременно виноватой улыбкой.— Пить перестанет, пожалуй, завтра к вечеру, но неделю не советую задевать. Уж извините нас: как теперь говорят, «болевая точка».

Болевая точка была настолько ощутима, что Анисья приходила в себя, будто после приступа. В эти дни она была на редкость неразговорчива, груба и трудно переносима даже для очень близких. Исключая, естественно, бабу Леру, которая все понимала и все прощала, ибо была не только мудра, но и смертельно ранена тем же оружием, которым нанесли раны открытому и доброму сердцу Аниши.

В огромном — в два этажа — доме старушек, где ни одна дверь не запиралась на замок, даже если обе хозяйки надолго уходили в Красногорье, никогда не бывало ни одного ребенка. Здесь с открытой душой принимали редких туристов и топографов, рыбаков и охотников, собирателей фольклора и странствующих художников — при одном непременном условии: без детей. Условие это не знало никаких исключений и неукоснительно проводилось в жизнь при любых обстоятельствах, хотя баба Лера поддерживала активную дружбу

с детьми, но так сказать, вне стен этого дома. Она была почетной пионеркой и еще кем-то в Красногорской школе, часто ходила туда зимой — пока, естественно, была дорога,— а летом посещала пионерские лагеря и любила рассказывать ребятам о гражданской войне. Но это, повторяю, вне дома, а в нем баба Лера свято соблюдала все условия, выдвинутые Анисьей.

— Есть одна тема, которую не надо бы затрагивать,— сказала мне баба Лера в самом начале нашей дружбы.— Аниша очень болезненно реагирует на любые упоминания о детях, и на это, поверьте мне, у нее есть очень серьезные причины.

Я воспринял предупреждение бабы Леры как закон, но Анисья сама однажды начала разговор. Баба Лера ушла в пионерский лагерь на очередной костер с воспоминаниями, Анисье это очень не понравилось, и заговорила-то она, как мне кажется, от несогласия.

— Пионери,— ворчала она, гремя самоварной трубой.— Пионери и пионерьки, костры и дымища.

Я сидел в сторонке, двумя руками отмахиваясь от комаров. Был поздний вечер, было светло, как днем, и Двина под обрывом играла всеми красками исчезнувшего за горизонтом солнца.

— Пионерьки называются, а грудища, как у верблюда. Иди в дым, горемыка, чего комарье подпаиваешь?

Я послушно пересел поближе к струе густого желтоватого дыма, валившего из самоварной трубы. Анисья еще раз громыхнула ею, подсыпала сосновых шишек, ударила ладонью о ладонь и сердито уселась рядом. Закурила и вдруг заворчала, не глядя на меня:

— Меня такой, как пионерьки эти, на Канал пригнали за то, что я с реки Лены, где жить нам было велено, самовольно бежала в село свое родимое. Тугая была: надавишь — соком брызну, ей-богу, будто тыщу жизней в себе носила. На Канале говорят: во, говорят, еще одна рожалочка приехала. Это меня так воровайка Муся окрестила и к себе в барак взяла. Блатным всегда лафа, а тогда — на особинку: бригадами командовали, контриков очкастых перевоспитывали и жрали с котла первые, а нам — водица теплая. Я потому к ним-то и пошла, дура, а Муся эта меня на второй день своему полюбовнику подложила. От него я и понесла попервости, да мертвенького родила: глупой была очень, отбиваться не умела, и мяли меня тогда сильно, когда и по пять раз на дню мяли, вот ребеночка и задушили. Много раз я потом мертвеньких скидывала, а шестерых живеньких родила и кормила, сколь позволяли. Месяца четыре-пять покормлю, и отбирают от меня деток моих, как щенят у суки. Опять в барак, опять на общие. Я ревмя реву, груди огнем горят, молоко из них ручьями текет, а меня — на лесоповал да на полную норму. Из-за слез деревьев не видишь, в ушах не пилы — деточки твои плачут, и думаешь только: господи, хоть бы тебя, непутевую, болваном каким придавило. А потом глохнешь вроде, сердце запекается, и рвешь ты собственных своих деток из себя самой. Где они сейчас, как зовут их, какая такая фамилия у них? Ничего не знаю. Без вины я виноватая, а на деток все одно глядеть не могу. Душа у меня темнеет, будто черной пылью покрывается, и стыд уж так гложет, что задавиться хочется. Почему стыд, спросишь? А кто ж его знает, может, и от совести. Все во мне убили, все во мне пожгли, все во мне опоганили, а совесть и там выжила. И боюся я детских глаз, будто подлюка я и стерьва. Страдали мы с Лерей Милентьевной, страдали, рожали-рожали, а на старых годах — никогошеньки в доме. Как в лесу, хоть «ау!» кричи...

2

Калерия Викентьевна Вологодова родилась в 1900 году, и история превращения ее в бабу Леру расписана по ключевым датам нашего столетия. Пяти лет от роду она проснулась от стрельбы на Пресне, в десять рыдала навзрыд, узнав о смерти Толстого, в пятнадцать провожала на германскую свою первую, еще старательно скрываемую от самой себя, любовь.

— А в семнадцатом он вернулся, можете себе представить? Ноябрьской

ночью забарабанили в двери. Все испугались: глухая темень, правопорядок рухнул, на улицах вторые сутки идут бои. Но стучали настойчиво, пришлось открыть, и вбежал Алексей. В форме, офицерской портупее, еще с «Георгием», но уже без погон.

«Лера, у нас — тяжелораненые, юнкера обошли, хотите нам помочь?»

И я пошла сразу, как стояла, так и пошла, даже, кажется, забыла оглянуться. Моя жизнь начиналась, как роман, и я была счастлива, как бывают счастливы только в романах...

Так тихой белой ночью баба Лера начала рассказывать мне о самом главном, самом светлом, гордом и чистом — о своей молодости. И я понял секрет ее бессмертного оптимизма: вся ее жизнь опиралась на легендарную юность, идеально совпавшую с юностью нашей страны.

Каждое дитя рождается в муках и крови, и каждая мать обмирает от счастья, навсегда забывая собственную боль. И ребенок, по-моему, плачет тоже от счастья, тоже навсегда забывает об ужасах собственного рождения и подсознательно помнит только великий миг освобождения...

Стояло жаркое лето. Еще было время до смертной зимы; еще сухонькая, с фигуркой подростка баба Лера неделями бродила по лесам, ночуя в брошенных селениях и забытых скитах. Она была удивительно отважной, эта дочь царского сановника, жена героя гражданской войны, вдова врага народа, вечно юная большевичка Революции и солнечная женщина безулыбчивого двадцатого столетия.

— Страшно ли одной в лесах? Порою невыносимо, но страх — самое унизительное чувство. Он перечеркивает человеческое «я», оставляя животное «мы»: недаром страх был оружием фашизма и уголовщины. Я знаю первое лишь по документам, но хорошо знакома со вторым. И когда я подавляю в себе страх, я торжествую победу над всеми, кто пытался вселить его в меня. О, это удивительное чувство, будто в вас звучит труба. Далеко-далеко и звонко. Кто хоть раз слышал ее, тот никогда не унизится до страха.

Она говорила закругленными книжными фразами, но так, что собеседник никогда не ощущал резонерства, оставаясь собеседником и не превращаясь в слушателя. Баба Лера сообщала только то, во что веровала, не боясь банальностей, а потому и не скатываясь на них. Я любил слушать ее и Анисью, может быть, еще и потому, что к этому располагала сама природа — белые ночи, играющая красками на закатах и зорях Двина, оглушающая тишина и огромные пространства когда-то густонаселенного, а теперь обезлюдевшего края. Это была добычливая окраина, где до сей поры жили не знавшие крепостного права потомки гордых новгородцев, отличавшиеся особой степенностью, достоинством и самостоятельностью. Они не подверглись той обработке страхом, который был характерен для жителей собственно Великороссии, и мне восторженно представлялось, что они бесстрашны и несгибаемы извеку. Я объявил об этом, но баба Лера грустно улыбнулась.

— Анюша родом из этих мест. Поговорите с нею.

Я перевел рассуждения о страхе на понятный Анисье язык. Она сидела на высоком парадном крыльце строенного на века дома и сосредоточенно скоблила репу уцелевшими зубами. Выслушав, долго разминала огрубевшими деснами сладковатую кашицу.

— Самостоятельные были, верно. Это в России лапотники, а у нас — все в сапогах, даже если и бедолага какой. И бар не было, правильно говоришь. Даже слова такого не знали, бабушка сказывала, а потому и жили мы дружнее, чем у вас в России.

— Ой ли? И бедняки с кулаками дружили?

— Ха! — она колюче глянула на меня.— Кулаков тогда и навовсе не было. А вот так скажу тебе, что в каждом селе обязательно одно окошко светилось цельную ночь. Сегодня, скажем, у Севостьяновых, завтрева у Чекалкиных, а там еще у кого. Вроде как дежурство. Чтоб человек и в самую черную ночь знал, под каким окном ему краюху хлеба искать.

— Для охотников, что ли?

— Эх-ма! — с презрением выдохнула Анисья.— Охотник, он и в дверь войдет. А этот свет для тех, кто сторонкой шел, глухой да неведомой, ночами да лесами. Кто глаз опасался, чтоб людей во грех не вводить, чтоб им врать не приходилось. Беглым окошечки ночью светили, беглым.

— Каторжникам?

— Это для начальников они — каторжные.

— А если убийца?

— Ты, что ль, ему судья? Раз бежал, значит, несогласный. Согласный никуда не бегал, совесть не позволяла.

— Аниша, ну как же так? Ты же уголовников ненавидишь, а тут вдруг защищаешь их.

Анисья долго молчала, а потом разразилась монологом, где частично понятными были только матерные слова. Но то ли потому, что ругалась она на блатном жаргоне, то ли от искренности матерщина не похожа была на сквернословие, а казалась словесной шелухой. Баба Лера всегда останавливала такие пассажи, по-особому, искоса поглядывая на Анисью. Та сразу же замолкала и начинала усиленно пыхтеть, будто бежала в гору.

— Нелогично рассуждает наша Аниша? — улыбнулась баба Лера.— А вы попробуйте забыть о тех абсолютах, которые заучивают с детства. Ведь думать — значит анализировать предлагаемые обстоятельства, а не с натугой припоминать, как там полагается реагировать по правилам. Я зануда?

— Что вы, баба Лера!

— Вероятно, но что же делать, когда так хочется оставить людям хоть чуточку личного опыта.

Баба Лера сокрушалась, что мало у нее сил и мало времени. Она вела в огромном Красногорском совхозе необозримый по темам курс лекций: рассказывала о Софье Перовской и Екатерине Второй, о правах женщины и обязанностях матери, о свободе личности и законах общества, о гражданской войне и строительстве социализма, о... Господи, о чем может рассказывать потомственная русская интеллигентка? Она торопилась успеть, не щадила себя, выступала и писала, и в далекое Красногорье шли весомые посылки с книгами, журналами и фотокопиями документов.

— Мой муж в двадцать три года руководил действиями армейской группы и был настолько знаменит, что я из самолюбия оставила девичью фамилию.

Баба Лера ничего не придумывала, не сочиняла, но во всех ее рассказах о муже, юности и гражданской войне отчетливо звучал оттенок горделивости. Это нисколько не мешало мне слушать, но помимо воли все ее воспоминания приобретали характер романтический, будто надевали котурны. Калерия Викентьевна Вологодова искренне гордилась не собою, а своим и впрямь легендарным временем.

Бывший поручик стал знаменитым уже в первый год гражданской войны. Он командовал тогда пехотной дивизией на южном фронте и оказался отрезанным от резервов, тылов и снабжения. Нависала реальная угроза полного окружения, в батареях оставалось по полтора снаряда на орудие, а в подсумках — по две обоймы на винтовку. Следовало уходить, отрываться от противника, превосходящего по всем видимым военным статьям, но молодой начдив медлил, рассылая во все стороны связных. Он собирал остатки красных войск, разбитых петлюровцами или деморализованных страхом. И когда собрал всех, кого можно было еще собрать, объявил себя полновластным и единственным командиром и начал отход. К тому времени петлюровцы перекрыли все вероятные пути отступления, сосредоточив на важнейших направлениях ударные курени, но Алексей повел свои войска совсем уж невероятными путями. Он организовал ряд ложных движений, широко и умело пользовался дезинформацией, совершал неожиданные ночные броски и не просто уберег войска от невыгодного боя, но умудрился так запутать противника, что два куреня долго и усердно колошматили друг друга, а красные тем временем без боев уходили все дальше и дальше в степи, к рабочему Донбассу. Это был уникальный в военной истории марш безоружной армейской

группы — без дорог, обозов, боеприпасов и продовольствия — по территории, занятой врагом.

— Сейчас уже немыслимо представить эти марши,— баба Лера ласково и задумчиво улыбнулась своему мятежному прошлому.— Тысячи людей идут босиком, и степь гудит в такт их шагам. И марево на горизонте, и сухарь на весь день, и страх, что отрежут, перекроют дороги, что навяжут бой, а патроны есть только у дежурного полка,— она неожиданно вскинула голову, и я увидел в ее старческих глазах две искорки: оттуда, из тех огней.— Мы много говорим о страхе, и убеждаем друг друга, что он унижает, а ведь тогда, в том походе, боялись все, кроме Алексея,— баба Лера строго посмотрела на меня.— Я знаю, что страх был ему неведом, влюбленную женщину не обманешь. А я и по сей день в него влюблена. Так же, как тогда, в восемнадцатом...

Тогда он шел пешком, как все. В ярко начищенных хромовых сапогах, перетянутый офицерской портупеей, с тяжелым немецким биноклем на груди. Люди падали от изнеможения, голода, отчаяния, тепловых ударов; люди сбрасывали с себя все, что возможно, и шагали, обливаясь потом. А бывший поручик шел размеренным шагом, крепко сжав тонкие губы, и дышал только носом.

— Алеша, позволь людям передохнуть.

— Нет. Мы должны сохранять отрыв от противника в дневной переход.

— Расстегнись. Солнце в зените.

— Иди молча и дыши через нос. Четыре шага — вдох, четыре — выдох, четыре — вдох, четыре — выдох. Только так можно дойти.

Ни одной пуговицы не расстегивал на людях, ни одного вздоха, ни одной жалобы не слышали они: дисциплина. Каждое утро — зарядка, бритье, начищенные сапоги: дисциплина. Ежедневные приказы, отпечатанные на машинке.

— Алеша, милый, их же никто не читает!

— Дисциплина, Лера. Печатай: пункт первый. За истекшие сутки наши доблестные войска...

Дисциплина — это уверенный, всегда ровный голос командира. Дисциплина — это оркестр, беспрерывно играющий марши. Дисциплина — ночная поверка караулов после сорокаверстного перехода. Дисциплина — упругий шаг, когда нестерпимо болят растертые в кровь ноги. Дисциплина — вечный спор с отважным рубакой Егором Ивановичем, командиром кавалерийской бригады.

— Колоритнейшая личность! — увлеченно рассказывала баба Лера.— За десять лет до революции поднял восстание, жег усадьбы и экономии, раздавал крестьянам хлеб, скотину, деньги, наказывал жадных и жестоких и был чрезвычайно, сказочно популярен. Его не раз ловили, а он убегал и снова брался за свое. В конце концов его все же поймали и сослали в Сибирь, в бессрочную каторгу, откуда он освободился только после Февральской революции. Он был чудовищно смел, самоуверен и темен.

Егор Иванович действовал самостоятельно, однако при угрозе окружения согласился на настойчивые предложения начдива объединиться. Прискакал в село, где стоял штаб, бросил поводья вестовому, громыхая парадным кирасирским палашом, вошел в избу, где Лера печатала очередной приказ, который диктовал затянутый во все офицерские ремни Алексей.

— Здорово, начдив! — гаркнул с порога огромный, картинно увешанный оружием недавний гайдамак.— Жмут, гады... тра-та-та! Но мы им намылим холку... тра-та-та!..

Бывший повстанец пользовался матерщиной с изобразительностью и щегольством истого южанина, но бывший офицер не переносил подобного общения, несмотря на два окопных года. Побелев, вскинул голову, снизу вверх глядя на рослого комбрига, и рука его медленно поползла к кобуре.

— Алеша...— еле выдохнула Лера.

Рука остановилась на полдороге. Начдив глубоко вздохнул и громко, чтобы слышали вестовые и ординарцы, толпившиеся под открытыми настежь окнами, отчеканил:

— Если вы при мне или моей жене еще раз посмеете произнести хотя бы

одно скабрезное слово, я пущу вам пулю в лоб в то же мгновение. Кру-гом! Шагом марш!

Знаменитый мятежник настолько опешил, что тут же и вышел, «кругом», правда, не повернувшись. Два часа он гонял по окрестностям, нещадно нахлестывая коня и отводя душу в сверхизощренной ругани. Потом перегорел и вернулся.

— Командир отдельной кавалерийской бригады,— хмуро представился он в той же избе.— Прибыл для согласования, как жить дальше.

— Рад познакомиться,— сухо ответил начдив.— Прошу садиться,— он повернулся к машинистке, собиравшей бумаги.— Вы свободны. Ко мне — начальник штаба.

Лера вышла, а мужчины некоторое время молчали, неприязненно разглядывая друг друга. Потом Егор Иванович перевел взгляд на потолок и сказал, политично ни к кому не обращаясь:

— Прижмет нужда, так и офицерью поклонишься!

— Пользуясь отсутствием посторонних, считаю своим долгом высказать вам претензии,— негромко сказал начдив, проигнорировав элегантный выпад комбрига.— Я — противник партизанщины, а посему буду требовать дисциплины и строгого исполнения уставов. Далее, я видел ваших кавалеристов, товарищ комбриг, и характеризую их одним словом: табор. Все, что возится во вьюках и тороках, сдать в обоз.

— Ты же — белый,— со злорадным торжеством объявил Егор Иванович.— Ты хочешь отнять у трудящего последний прибыток?

— Я хочу командовать регулярной частью, а не анархистским сбродом.

— Ах, ты командовать хочешь! — заорал вдруг комбриг с яростью и стал пугать вытаращенными глазами.— А где ты был, когда я один воевал с царизмом и жандармами? В гимназиях...

Он вдруг смолк, оставшись с разинутым ртом. Там, под вислыми украинскими усами, явно клокотал мат, но комбриг вовремя вспомнил, что его ожидает, если этот мат вырвется наружу, и сейчас мучительно давился им.

— Справедливо заметили о возрасте, если полагаете, что он заменяет собой все прочие человеческие способности,— начдив достал из офицерской сумки печать, положил ее перед Егором Ивановичем и встал.— С удовольствием меняюсь: принимайте командование всеми войсками, а я возьму вашу бригаду.

— Ах ты, недобитый...

Комбриг сорвался с места и, грохоча палашом, вылетел из хаты. Сквозь открытые окна тотчас же донеслась его забористая ругань. Отведя душу, Егор Иванович вернулся и хмуро сел к столу.

— Чуть не упали,— сказал начдив озабоченно.

— Чего?

— Чуть не растянулись, говорю, потому что носите парадную погремушку вместо боевого оружия. Принимаете общее командование?

— Ищи дурака!

— Тогда впредь прошу являться ко мне в боевом, а не опереточном виде,— начдив подался вперед, приглушил голос.— И волосатую свою грудную клетку прошу ни при мне, ни тем более при молодой женщине более не показывать. Пуговицу пришейте.

Таков был первый разговор с легендарным комбригом, и в дальнейшем отношения складывались соответственно первому впечатлению. Егор Иванович издевался над бывшим поручиком, как только мог, называя его офицерской шкурой, белым недобитком и паршивым интеллигентишкой и приправляя каждое определение художественно оснащенной матерщиной. А молодой начдив с завидным постоянством тыкал бывшего романтического разбойника носом во все упущения, не забывая при этом с глазу на глаз указывать и на личные промахи касательно формы одежды, правил поведения и привычного лексикона. После этих внушений распаренный, как после бани, комбриг с грохотом и звоном вылетал на простор, отводя душу в чутком обществе личных вестовых и ординарцев.

Но это касалось только их двоих: начдива и комбрига. Кавбригада, спаянная прежде всего огромным авторитетом командира, была грозной силой и единственным козырем начальника дивизии, которым он пользовался широко и умело. Конники вели авангардные и арьергардные бои, заставляя охочих до расправы над безоружными сечевиков держаться на почтительном расстоянии; бригада несла дозорную и разъездную службы, прикрывала ползущую на заморенных клячах артиллерию с пустыми зарядными ящиками, служила единственным активным резервом начдива и исполняла всю огромную работу, связанную с разведкой, связью и наблюдением за противником. Начдив не жалел ни людей, ни лошадей, и это особенно тревожило и обижало гордившегося своими лихими хлопцами Егора Ивановича. Когда обида переполняла чашу, комбриг мчался в штаб группы, где и изливал ее на бывшего офицера в весьма резких, громких, но вполне парламентских выражениях. Начдив никогда ничего не разъяснял, никогда не спорил и не оправдывался, а только доставал дивизионную печать и скучным голосом предлагал обмен:

— Принимайте общее командование, а я возьму вашу бригаду.

— Мальчишка! Царский недобиток! Паршивый интеллигент! — орал Егор Иванович в своей бригаде после таких поездок.

Невидимые кристаллики льда медленно накапливались в их отношениях. Егор Иванович все более открыто возмущался «офицерской спесью» начдива и уже не обрывал разговоров об измене. Теперь он стал уклоняться от свиданий с начальником дивизии, присылая своего заместителя — фигуру незначительную, как и положено заместителю фигуры значительной. И кто знает, до чего довели бы эти шепотки да взаимная неприязнь, если бы в отношения начдива и комбрига не вторгся случай — один из самых частых гостей в гражданской войне.

Егор Иванович давно и, кстати, вполне справедливо негодовал по поводу бесконечных дневных переходов и ночных марш-бросков, по опыту зная, что лошади требуется более длительный отдых, чем человеку, и что заморенный конь в бою подводит куда чаще, чем безмерно измотанный пехотинец. Начдив знал об этом не хуже, но севший на хвост противник долго не давал возможности передохнуть. Но как только группа оторвалась от петлюровцев на три-четыре перехода, немедленно был отдан приказ о суточном отдыхе для всех.

Кавалерийская бригада для дневки облюбовала тихий хуторок с чистым ставком и не менее чистой самогоночкой, легкий аромат которой тревожил измотанных маршами конников. Голые хлопцы с веселой руганью и солеными шутками купали коней, а сам комбриг мирно подремывал, отдыхал на берегу. Большой, старательно выскобленный череп его покрывал мокрый платочек, который верный вестовой то и дело освежал в пруду. Знойная тишина висела над хутором и над степью, и этой тишине нисколько не мешал жеребячий гогот лихих кавалеристов. Зануда начдив остался в десяти верстах, в селе, где располагался штаб, и Егор Иванович пребывал в покойной истоме.

— По шляху ктой-то верхи бегет,— доложил вестовой, принеся платочек.— Видать, с приказом.

— Вот и покурим,— не открывая глаз, пошутил комбриг, поскольку принципиально не читал ежедневных штабных обзоров, напечатанных на машинке.

Всадник на запаленной, хрипящей лошади вылетел на берег, топча разложенные для просушки выстиранные рубахи и подштанники. Просипел, исходя в кашле:

— Там... начдива... кончают.

И упал на землю, подставив нестерпимому солнцу четыре запекшихся пулевых дырки в спине. Рокочущий бас комбрига вмиг перекрыл хохот хлопцев, плеск воды и ржание лошадей:

— На конь!..

И, вырвав клинок из лежавших поверх аккуратно сложенной одежды ножен, первым вскочил на неоседланного коня:

— За мной!..

Хлопцы влетели на мокрые лошадиные спины еще в пруду, разбрызгивая

воду, гнали к берегу, на скаку подбирая оружие. И голые, на блестящих мокрых конях мчались вслед за сверкающей шашкой комбрига.

— Дае-ешь!..

Ах, какая это была атака! Все четырнадцать с половиной тысяч войн, которые вело человечество за всю запомнившуюся историю, не знали такой атаки. Пятьсот мокрых, распаленных скачкой коней, пятьсот голых горячих хлопцев, опьяненных ветром, степью и революцией, пятьсот сверкающих на солнце клинков и комбриг Егор Иванович впереди всех с обнаженным клинком. И топот копыт, и конское ржание, и матерщина во всю глотку, и дикий свист, и рев сотен глоток:

— Дае-ешь!..

Нет, эти хлопцы не просили, но и не давали пощады, и петлюровский пулемет подавился патроном на первой же очереди. Крики, топот, свист, лошадиный храп и разудалая ругань ворвались в широкую улицу и потекли по ней, гоня перед собой обезумевших от ужаса сечевиков к центру. К церкви.

— А я в это время стояла в церкви, в простенке, на коленях, и в лоб мне упирался наган Алексея,— рассказывала баба Лера, и веселые лучики играли в морщинках ее вдруг помолодевших глаз.— Он был уже дважды ранен, мы глядели друг другу в глаза, слушали, как петлюровцы бревном высаживают двери. И я отчетливо представляла себе, что живу последние мгновения.

— Неужели он мог застрелить вас?

Лицо бабы Леры сделалось незнакомо надменным:

— Я любила мужчину.

Она спохватилась, загораживаясь привычной улыбкой. На миг выглянувшая гордячка из привилегированного класса ушла без следа, уступив место мудрой старой женщине, страдавшей и простившей.

— Это было высшее милосердие. Кроме того, надо было знать Алексея. Помните, в фильме «Чапаев» есть эпизод замитинговавшего во время боя эскадрона? А у нас в таких же обстоятельствах замитинговал полк. Алексей прискакал, когда там одновременно выступали три оратора и все трое требовали примирения с Петлюрой. Алексей достал наган и с седла расстрелял выступавших. Бойцы онемели: еще секунда, и его бы разорвали на части, но он отобрал у них эту секунду. Гаркнул вдруг! «Построить полк! И немедленно доложить о боевом настроении!..» Через полчаса он повел этот полк в атаку...

— А тогда, в церкви? Когда вы стояли на коленях, а петлюровцы выламывали двери?

— Тогда? — и вновь озорные лучики заиграли в глубоких морщинах бабы Леры...

Тогда Лера ничего не слышала, но Алексей услышал и крики, и конский топот, и беспорядочные частые выстрелы за стенами церкви. В двери опять стали ломиться, сорвали ее с петель, и в церковь ворвалась орава голых парней во главе с самим комбригом.

— Цел? — задыхаясь, спросил он.— Цел, начдив?

— Георгий Иванович, я же просил вас являться ко мне в боевом, а не в опереточном виде,— сварливо и укоризненно сказал начдив.— Тем более, когда со мной — молодая женщина...

Смертельно обиженный комбриг рванул из церкви, расталкивая голых хлопцев:

— Ах, тудыть-растудыть! — орал он, враз позабыв о предупреждении начдива.

Сморщенное, как печеное яблоко лицо бабы Леры сняло двадцатилетней улыбкой: она была счастлива. Счастлива, что любила необыкновенного человека, и этот необыкновенный человек любил ее; счастлива, что была не только свидетельницей, но и участницей жестокой и прекрасной битвы; счастлива, что видела столь много, и может об этом рассказать. Удивительно, но она и сейчас была счастлива, никого не проклиная и ни о чем не сожалея.

— Вы фаталистка, баба Лера?

— Меня слушают. Вы молоды и не можете этого понять. Меня слушают, затаив дыхание; значит, мой опыт нужен людям?

Прожитая жизнь оказалась интересной, важной и нужной не только ей, и в этом заключался секрет ее отчаянного оптимизма.

— В те времена существовало множество возможностей ущемить человеческую гордость, честь, достоинство, и истинно гордые люди становились болезненно гордыми. Понимаете, гражданская война размывала вековые наносы до глубинных пород, устраняя привычно среднее, обыденное, и становилось видно, на чем же стоит человек. Алексей стоял на монолите.

Да, молодой поручик из семьи потомственных интеллигентов оказался человеком с неразмываемым характером. Такие кремешки наживают себе больше врагов, чем друзей, но даже враги понимают, что на них можно положиться. А неспокойное время подтачивает устои не только государств и классов, но и каждой личности, и свою твердость приходится доказывать ежечасно. Это было необходимым условием жизни, ибо в дни тяжких потрясений люди тянутся к сильным натурам, обеспечивая тем самым высокий потенциал этих сильных натур. Бывший поручик понимал это и никогда не давал спуску ни себе, ни подчиненным, ни кому бы то ни было иному.

Случилось так, что именно в расположение его дивизии прибыл Чрезвычайный Уполномоченный Совета Обороны — ЧУСО, как тогда говорили. Этот ЧУСО был известен властным и жестоким характером, с особой силой проявившимся на Юге во время удач генерала Краснова: решительно объявив себя единоличным командиром, возглавил оборону, организовал растерявшихся, расправился с оппозиционерами, а заодно и со всеми подозреваемыми в оппозиции, и выстоял. После этого случая он уверовал в свой полководческий гений и, пользуясь огромной властью Чрезвычайного Уполномоченного, постоянно вмешивался в действия командиров на тех участках, куда его посылали по вопросам, далеким от боевой деятельности. И оказавшись в дивизии бывшего поручика с задачей изыскать возможно больше хлеба для голодающей Москвы, энергичный и своенравный ЧУСО начал беззастенчиво вторгаться в суверенные дела начальника дивизии. Начались аресты царских офицеров, служивших в штабе и тылах, выдвижение новых руководителей, перестановки и перетасовки, смущения и перемещения и даже расстрелы: Уполномоченный «чистил» тылы, деятельно отправляя в мир иной заложников из дворян, промышленников и купцов. А начдив, как на грех, находился в боевых частях: на фронте было нестабильно. Но узнав об арестах, тут же вызвал командира кавалерийской бригады. К тому времени Егор Иванович перестал таскать парадный палаш и порою даже чистил сапоги, но отношения между начдивом и комбригом, мягко говоря, оставляли желать лучшего.

— Георгий Иванович, прошу быть готовым принять под свое начальствование мою дивизию.

— Чего? — недоверчиво протянул комбриг, учуяв подвох.

— Повторяю: прошу быть готовым принять под свое начальствование нашу дивизию.

— А на хре... Кхм! — комбриг оглушительно прокашлялся.— А зачем мне эта хвороба? Мне своих — во! Кони подбились, ремонту нет, овса не дают, железо у артиллеристов христом-богом вымаливаю. А ты хочешь дивизию мне навесить? Да шел бы ты, начдив, это...

— Иду, и потому прошу отнестись к моей просьбе со всей серьезностью. ЧУСО арестовывает невиновных и тем подрывает авторитет нашей власти и мой лично. Пора ставить вопрос: либо он, либо я.

Егор Иванович долго глядел на Алексея. Потом достал платок, вытер взмокший череп и шепотом осведомился:

— Ты што, Алеша, сказывся, чи шо?

— Пока нет, но дивизию все же прошу...

— Начдив, не лезь к волку в зубы!

— Позаботьтесь о дивизии, Георгий Иванович. Пожалуйста.

На следующее утро начдив выехал в тыл. Ждать приема у ЧУСО пришлось дольше, чем его решения, хотя бывший поручик старался излагать претензии ясно и кратко.

— Арестовать,— ЧУСО в мягких сапогах двигался по личному вагону легко, как барс.— Ишь, контрик,— вдруг привстал на носки перед высоким начдивом, уставился в глаза.— И не боишься?

— Я требую отпустить на свободу ни в чем не повинных людей. Военспецов, тыловых работников, заложников — всех, арестованных по вашему приказу.

— Жалко,— помолчав, вздохнул ЧУСО.— Такой смелый — и враг советской власти.

Он явно ожидал, что уже обезоруженный начдив, стоявший под охраной двух молодцов в английских френчах, станет спорить, утверждать, что он не враг, не изменник, не предатель. Тем самым этот бывший офицеришко стал бы спасать себя, а не тех, ради кого прискакал с передовой, и главное противоречие можно было бы считать устраненным. Но молодой начдив по-прежнему чеканил:

— Я требую немедленного освобождения...

— Жаль,— уже жестко повторил хозяин салона-вагона.— Изменников расстреливают без суда. Распорядитесь.

И распорядились бы — тогда такие проблемы решались просто. И расстреляли бы, но тут без стука вошел увешанный оружием начальник охраны. Не глядя на приговоренного, пересек вагон и, почтительно склонившись, зашептал ЧУСО в ухо. Начдиву показалось, что хозяин бросил встревоженный взгляд на зашторенные окна; терять было нечего. Алексей шагнул к окну и отдернул штору.

Хмурый Егор Иванович располагался точно напротив салона-вагона. Он был на Мальчике — любимой лошади, которую приказывал седлать в исключительных случаях. Справа и слева от него в развернутом конном строю стояла бригада; хлопцы беззлобно переругивались с охраной, но патронташи обвисали на ремнях, правые руки были свободны, и шашки каждый миг могли легко вылететь из ножен...

— Ты что, шуток не понимаешь?

Алексей оглянулся: начальника охраны в салоне не было, а ЧУСО добродушно улыбался, доставая из кармана френча трубку.

— Хочешь закурить? Кури, пожалуйста, сделай милость.

Безмолвные молодцы вручили начдиву отобранный наган и шашку.

— Я требую немедленного...

— Правильно требуешь, очень правильно,— тут же согласился хозяин.— Твое поручительство много значит: я уважаю принципиальных. Все задержанные сегодня же будут освобождены, даю слово. А на шутку не обижайся, у нас на Кавказе очень любят шутить с друзьями.

ЧУСО, улыбаясь благодушно, протянул руку, но бывший офицер не заметил этой руки. С подчеркнутым шиком щелкнул каблуками:

— Честь имею.

Вскоре начдив забыл об этом инциденте: уж слишком он выглядел мелким на фоне тех дней. Егор Иванович погиб уже после войны при весьма загадочных обстоятельствах, а бывший ЧУСО быстро стал набирать силу, умело стравливая вчерашних соратников. Через полтора десятка лет он достиг высшей власти и, как выяснилось, ничего не забыл. Он вообще отличался изумительной памятью, этот бывший Чрезвычайный Уполномоченный Совета Обороны.

3

Как-то на очередной пересылке Калерия Викентьевна встретилась с женой или вдовой (кто знал в те времена — жена еще она или уже вдова?) военюриста Горбатова Ниной. Горбатов когда-то служил у Алексея, и женщины тотчас узнали друг друга. И там, на нарах, под нескончаемый мат блатнячек, беззвучно — губы к уху — Нина нашептала Калерии то, чего она не знала и не надеялась узнать.

Мужа Калерии Викентьевны — героя гражданской войны и командующего Особым военным округом — судили заочно и торопливо, не дав возможно-

сти не только оправдаться, но и просто объясниться. Приговорили к расстрелу без права апелляции. Только приговор огласили в присутствии приговоренных. Крестьянский сын Горбатов с детства мечтал учиться — все равно где, все равно на кого — и из строя пошел в Военно-юридическую академию только потому, что туда был набор. И теперь, выучившись и став юристом, судил своего бывшего командира по обвинению в измене Родине.

— К расстрелу без права апелляции...

Сорокалетний командарм, обвиненный в предательстве, не испугался, не растерялся, даже не удивился: он негодовал. Он обвинил суд и судей в искажении линии партии и потребовал немедленного созыва партийного съезда не для собственного спасения, а для спасения идеи, которая для него была дороже жизни. И члены суда стояли перед ним, опустив глаза, и уже он обвинял их в предательстве. А потрясенный Горбатов, придя домой, все рассказал жене, написал письмо Сталину и...

И теперь, лежа на вшивых нарах, его жена Нина со слезами шептала:

— Боже, какими детьми были наши мужья! Какими наивными детьми!

— Наивными? — встрепенулась Калерия.— Они были настоящими большевиками. И если мы любим их, мы обязаны быть такими же. Такими же настоящими!

Так была произнесена клятва, которой Калерия Викентьевна осталась верна всю жизнь. Идеалы удивительной молодости остались идеалами навсегда, делая бабу Леру удивительно молодой. И все было удивительно: юность и замужество, вдовство и каторга, сегодняшние встречи у пионерского костра и потеря собственных детей.

— Двое было, мальчик и девочка. Мальчику шесть исполнилось, в первый класс собирался, а девочке — восемь. Павлик и Верочка.

Восемнадцать лет она ничего не знала о своих детях. На все ее дозволенные и недозволенные вопросы ответ был одинаков:

— Ваших детей воспнтывает государство. Переписка с ними запрещена для их же блага.

Шагать, как когда-то шагала с мужем: четыре шага — вдох, четыре — выдох. Верить, какие бы сомнения ни грызли тебя, и не раскисать, какие бы удары ни сбивали с ног. Не раскисать, ни у кого никогда ничего не просить, искать силы в себе самой и верить. Верить!

— Вам не верится, что мы верили? Скепсис — ржавчина души, он не способен к созиданию, его удел — разъедать.

Эти слова она повторяла себе все восемнадцать лет. Длинных и долгих: колымских, озерлагских, долинских. На нее смотрели, как на ненормальную. Ее ругали, проклинали, ее били, а она — верила. Упрямо и убежденно.

— Твоего мужа расстреляли без суда. Пристрелили, как собаку, зто ты соображаешь?

— Мой муж погиб в бою. Бой не только в гражданскую, не только на поле боя: бой и сейчас, когда к власти, в обессиленной войной и гибелью лучших в партии, пробрался очередной наполеон. Он уйдет, и имя его забудут, а Партия будет жить!

— Идиотка!

— Надо дойти. Надо дойти: четыре шага — вдох, четыре — выдох.

Баба Лера избегала говорить о том, чего не любила: о пьянстве, воровстве, хамстве, трудностях — и о лагерях. Я написал все в одном ряду, потому что для нее все и стояло в одном ряду: несправедливость и безнравственность, лагерь и хамство, тюрьма и житейские трудности. Она никогда не смаковала неприятностей, она страдала не столько от них, сколько от того, что они вообще существуют. А если к ней чересчур уж приставали, страдальчески морщилась:

— Пожалуйста, припомните, что нашему государству всего пять десятков лет. И потом, извините, но историю надо воспринимать полифонически, учитывая при этом, что у нас она впервые за все существование человечества приобрела смысл. Представляете, сотни тысяч лет люди жили, не ведая, что с ними будет завтра, как стадо животных, подверженных любым случайностям. А мы поставили цель, идеал, к которому все должны стремиться. Разве

это не прекрасно? Разве великая цель не требует великих страданий? Страдания страшны, когда они бессмысленны, а осмысленные страдания делают людей чище.

Великая цель оправдывала все страдания — и личные, и народные: в этом Калерия Викентьевна была поразительно последовательна. И в 1956-м, получив свободу, вышла из преисподней с несокрушимой верой и несокрушенным духом.

Однако этому светлому дню предшествовали два события: историческое и личное. Историческое заключалось в кончине Сталина, которую ожидали: кто — с надеждой, а кто и с ужасом. Калерия Викентьевна узнала о событии на пересылке в обстоятельствах, враз перечеркнувших холопью скорбь осиротевшего человечества и заставивших вспомнить об истории, поскольку смерть Ивана Грозного тоже была отмечена скоморошеством. Сходство было столь разительным, что чудом уцелевший энциклопедист Лавровского гнезда сделал на этой параллели обстоятельный доклад о неизбежности шутовства при неограниченной тирании. Но парадоксы ученого собрата прозвучали позже, а в тот траурный день интеллигенция ничего еще обобщить не успела, но темные массы продемонстрировали свою печаль способом весьма неожиданным.

По вполне понятным причинам о смерти сатрапа больше всего горюют работники карательных направлений. Не избежало этой закономерности и начальство пересыльной тюрьмы, в которой ожидала этапа Калерия Викентьевна. Но вместо избирательной команды: «такая-то с вещами», дежурный надзиратель скомандовал общий вывод без вещей. Удивленные «зечки» — уголовные и политические вперемежку — построились и, как было велено, спустились в широченный, старинной постройки коридор первого этажа. Там, окруженные конвоем, уже стояли шеренги зеков, встретившие вновь прибывших восторженным воплем: «Бабы!..» Шум и смех были тут же пресечены, мужчины и женщины замерли в недоуменном безмолвии, и в середину вышел опечаленный начальник.

— Граждане, послушайте важнейшее сообщение,— замогильным голосом начал он.— Вчера перестало биться сердце великого вождя и учителя...

Он торопливо доборматывал полный титул, а в зековских мозгах уже шла невероятная по интенсивности работа: будет амнистия или нет? когда? какие статьи? на каких условиях?.. Закончив официальную часть, начальник — уже от себя лично — осторожно коснулся вопроса о всеобщем единении пред столь гигантской утратой и горестно замолчал. И обалдевшие зеки молчали тоже, но отнюдь не в скорбях. Благолепная тишина эта, однако, продолжалась недолго: из строгих арестантских рядов в центр выпрыгнул вдруг хулиганистый и живой блатняк шестерочного веса.

— Братва, стало быть, усатый хвост откинул? Вот пофартило, едрить твою в пересылочку! Ах, огурчики да помидорчики...

И пошел вокруг заскорбевшего начальника, как вокруг елки, лихо бацая чечетку. И весь коридор взорвался вдруг таким воплем, таким залихватским матом, свистом, гоготом — таким восторгом, какого не знала пересылка за все сто тридцать лет своего бытия.

— Очень совестно, но я тогда тоже что-то орала,— смущенно призналась баба Лера.— Это было какое-то безумие, компенсация чего-то отнятого, торжествующее буйство — совершенно невозможно было удержаться.

Второе событие было менее масштабным, но значение его для Калерии Викентьевны оказалось огромным. Если смерть Сталина дала ей свободу, то встреча с Анишей определила всю ее дальнейшую жизнь.

Судьба щедро мотала ее и по лагерям, и по работам, даже не столько судьба, сколько характер: Калерия Викентьевна родилась и навсегда осталась особой бескомпромиссной. Таких уважают, но не любят не только в коллективах, и принципиальную «зечку» начальство всячески стремилось либо упечь на «общие», либо — этап. В хрустальном тельце Калерии Викентьевны, как выяснилось, обитал дух, которому бы позавидовал и былинный богатырь: она гнулась, но снисхождения не просила, и, естественно, начала «доходить», выражаясь языком тех времен и тех народов. Но и доходя, не теряла присуще-

го ей достоинства, которое чтили даже окончательно отпетые блатнячки, а прочие относились к ней с великим почтением. И при первой же возможности пристроили при больничке — не отсидеться, а передохнуть. И только она начала отогреваться и приходить в себя, как жизнь снова предложила ей тест на звание человека.

Пришел этап — шумный, разношерстный, измотанный распрями, а главное, истерично взнервленный, потому что следовал далее, в места заведомо гиблые. И женщины — и политические, и блатные, и бытовички — об этом знали, а потому и вели себя отчаянно, ниоткуда не ожидая спасения.

За день до отправки этапа далее, в тайгу, в больничку пришла заключенная. Пришла рано — еще не появился не только вольный врач, но и подневольная фельдшерица, и в пустом коридоре скребла пол уборщица. Посетительница быстро и опытно выявила, кто она, по какой и давно ли сидит, а потом сказала, что необходимо спасти хорошего человека. Что на этапе этот человек защитил молоденькую эстонку от грабежа и надругательства, за что и приговорена блатнячками к смерти. И надо совершить невозможное, но снять хорошего человека с этого этапа. И Калерия Викентьевна сделала невозможное, положив хорошего человека в больницу и так все запутав, что в фамилии разобрались только через сутки после ухода этапа, а в диагнозе так никто ничего и не понял. Вольный врач свирепствовал, искал виноватых, и Калерия Викентьевна безропотно вновь пошла на лесоповал, чудом избежав карцера. А хороший человек остался в этом лагере.

— Эх, сестричка-каторга! Да я за тебя в твой гроб лягу и твоим саваном укроюсь!

Незадолго до неожиданного освобождения Калерия Викентьевна потеряла спасенную ею Анишу: сама пошла по этапу, на котором и услышала об историческом событии. А еще через полтора года ее вызвало большое лагерное начальство.

— Вологодова Калерия Викентьевна?

Рядом с начальником сидел пожилой, интеллигентного вида гражданский. Задал несколько вопросов, уточняющих лагерную одиссею, а потом улыбнулся с облегчением и радостно протянул руку.

— От души поздравляю вас, Калерия Викентьевна. От всей души!

— С чем, простите?

— Вы освобождены немедленно, с сего мгновения.

— По амнистии?

— Нет. Было допущено нарушение законности...

— Тогда с чем же вы меня поздравляете?

Начальник огорченно вздохнул и многозначительно поглядел на интеллигентного гражданского: мол, слыхали? Вы ей — радостное известие, а она вместо благодарственных слов — дерзит. Все они такие. Эти. Бывшие большевики.

Калерия Викентьевна оказалась одной из первых ласточек той запоздалой весны. Год спустя уже во всеуслышание зазвучало слово «реабилитация», которая призвана была не только освобождать безвинно севших, но и возвращать их общественной жизни. Теоретически все было верно, а практически получалось скорее печально, чем празднично. В самом деле, можно было реабилитировать большевичку Калерию Викентьевну, но кто в силах был обрадовать этим жену, потерявшую мужа, и мать, утратившую детей?

— Как всегда, и мужчинам было легче, и с мужчинами было проще,— прокомментировала, грустно улыбнувшись, баба Лера.

Реабилитированная еще до Двадцатого съезда, Калерия Викентьевна через некоторое время вернулась по месту последнего вольного жительства, в город Москву. Квартира ее была, естественно, занята, но даже в те, очень стесненные нехваткой жилья годы получила комнату, компенсацию за конфискацию, денежное пособие, новенькие документы и предложения по трудоустройству. Но вместо трудоустройства реабилитированная села за наспех купленный стол и начала писать во все инстанции.

Да, с мужчинами было проще. Намного.

Калерия Викентьевна разыскивала своих детей, разлученных с нею в мае

тридцать седьмого. Двоих. Мальчика и девочку. Шести и восьми лет. Павла Алексеевича и Веру Алексеевну. Купила пишущую машинку и писала, писала, писала... куда только она не писала! Куда велели, туда и писала. И ей аккуратно отвечали, называя другие учреждения и другие адреса, и она снова писала, а ей снова отвечали со ссылкой на входящие и исходящие, называя все новые учреждения и новые адреса. И она печатала опять, потому что у нее была только одна задача, одно желание, одна мечта: найти своих детей.

Да, с мужчинами и тогда было легче. Намного.

«На Ваш исходящий №... от ... отвечаем, что указанных граждан Веру и Павла идентифицировать не представляется возможным ввиду отсутствия...»

Бесконечные поиски детей занимали почти все время. Почти все, потому что у реабилитированной гражданки Вологодовой была и другая переписка, и другой маршрут по другим кабинетам: она просила, требовала, умоляла разобраться с давным-давно, еще в тридцатом году арестованной дочерью раскулаченного. Она еще раз хотела снять ее с этапа. Бесконечные письма и столь же бесконечные хождения по кабинетам были основным занятием, но без дела Калерия Викентьевна обойтись не могла и устроилась лифтершей в гостинице. Служба давала ей три свободных дня после суточного дежурства и возможность писать по ночам черновики бесконечных просьб.

Капля камень точит, и хоть дети так и не нашлись, зато как-то пришло письмо из далекого далека:

«...Вот она, волюшка моя, которую двадцать восемь зим видать не видывала. Кланяюсь тебе земно, сестричка-каторга, за труды твои по вызволению моему. А в Москву к тебе меня никак не пущают и велят ехать прямо на родину, на Двину мою, в которой девчоночкой купалась. Так что не повидаю я тебя, но коли есть Бог на свете, то должен он с небес спуститься и перед тобой, Леря Милентьевна, на колени встать...»

Хоть одно дело разрешилось, и Калерия Викентьевна поплакала на радостях. Написала дорогой своей Анише, обещала в гости приехать. Ушло письмо в далекую Архангельскую область, а реабилитированная гражданка Вологодова продолжала печатать просьбы, напоминания, заявления и отношения. Отвечали с точностью отменно отлаженного автомата, и неизвестно, сколько бы времени продолжалась бы эта пустопорожняя переписка, если бы однажды не постучали в дверь ее комнатки.

— Прошу.

Вошел молодой человек, лицо которого ничего не напоминало, а вот глаза... Даже не глаза, а взгляд... Сердце забилось жалко и испуганно, и она встала из-за машинки.

— Вологодова Калерия Викентьевна?

— Я.

— Детей ищете?

— Да. Мальчик...

— Какой там мальчик,— угрюмо усмехнулся вошедший.— Не мальчик, а бугай вроде меня. Фамилия у вас по мужу?

— Нет. Девичья.

— Вас в тридцать седьмом?

— Да,— колени затряслись, и Калерия Викентьевна без сил опустилась на стул.

Незнакомец с таким знакомым ей взглядом все еще стоял у порога, как вошел и задал первый вопрос. А она и не замечала, что он — у порога: сердце стучало, на лбу выступил пот и было очень страшно. И вошедшему тоже, видимо, было страшно, потому что он странно смотрел на нее и молчал. А потом спросил шепотом, с отчаянной детской надеждой:

— В Саратове взяли?

— Нет.

— Как нет? — он шагнул к ней, прижав к груди руки, точно умолял опомниться и признаться, что арестовали ее именно в Саратове.— В Саратове, в марте тридцать седьмого...

— Нет,— тихо повторила она.— В Москве. В мае.

— В Москве...— выдохнул парень и надолго замолк. Потом сказал сухо: — Извините. Маму ищу. Тоже Калерией звали. А фамилию ее девичью забыл. Извините.

Неуверенно кивнув, он повернулся к дверям, но Калерия Викентьевна успела прийти в себя. Подошла и поцеловала.

— Проходи. Как зовут-то тебя?

— Володя.

Парень беззвучно заплакал, прижимая к лицу уцененную немодную кепку. Калерия Викентьевна молча гладила рано поредевшие волосы и думала, отчего же взгляд-то его показался ей знакомым. Да оттого, что оттуда был взгляд. Оттуда.

Посетитель взял себя в руки быстро, привычно взял. Сел к столу, пил чай, говорил кратко и сухо, и уже не было в нем ничего беспомощного, ничего такого, что позволило бы предположить, что он и заплакать может. Обугленное дерево и червь не берет. Калерия Викентьевна поняла его, сама стала рассказывать. О детях, о себе, о поисках. Он слушал, будто отсутствовал, а сказал резко:

— Зря стараетесь, не найти вам их, даже если и живы. В таких детдомах фамилии любили менять. Я постарше был, отбился, а малышне что навесят, то и ладно. Иванов так Иванов, Первомаев так Первомаев. Как, говорите, сына-то звали? Павлик? Ну, так свободно могли Морозова ему прицепить. Для вернозвучности.

— Для вернозвучности?..

Ничего не сказал гость, только неприятно, во весь рот усмехнулся, показав стальные казенные зубы. А Калерия Викентьевна, похлопотав еще немного, изверилась и написала в Архангельскую область отчаянное письмо.

— Собирайся,— сказала Аниша, через неделю отыскав ее в незнакомой Москве.— Вдвоем, родная, и на ветру удержимся.

— Глухо там, Аниша?

— Леря Милентьевна, так скажу, что как у конвоя в сердце.

Через сутки они выехали архангельским поездом. В Котласе пересели на пароход «ИВ. КАЛЯЕВ», и если бы я был там, с ними, то наверняка увидел бы, что на котласской пристани осталась Калерия Викентьевна Вологодова, а на пароходе рядом с нескладной лошадиной Анисьей стоит новоявленная баба Лера.

Превращение завершилось.

4

Анисью Поликарповну Демову отпустили в 1958-м, но не по чистой, хотя жить дозволили в родных краях, благо края эти и до сего дня все еще числятся в глухомани. После долгих пересадок с обязательными регистрациями Анисья наконец села в Котласе на пароход, а как отвалил он от пристани, так впервые за долгие дни и долгие километры ощутила себя свободной.

Был вечер, пассажиры толпились на палубе, махали платочками, кричали что-то веселое, с неудовольствием поглядывая на нескладную маслаковатую бабу в затасканном ватнике, что выла в голос, по-звериному выла, лбом о палубу колотясь. А вскоре и сердобольные набежали:

— Ты чего, милая? Что, родимая? Ай украли чего?

— Украли,— Анисья привычно, по-лагерному полоснула губу уцелевшими резцами, кровь потекла по подбородку, по ватнику — такому странному, такому чужому и нелепому рядом с легкими платьями.— Жизнь украли мою.

Не поняли бабоньки, однако обласкали, с собой увели, чаем поили. Расспрашивали, но ничего Анисья больше им не сказала. Пила чай, глядела в мир запустевшими глазами, громко вздыхала, и тогда что-то екало в ней, как в старой изработанной лошади. И бабы замолчали и глядели на нее жалостливо, порусски голову горсткой подперев и вытирая слезы концами платочков.

— Подремли, милая. Мы тебе мягкое постелим.

— Нет,— Анисья тяжело помотала головой.— Стоять мне надо на этой дорожке.

Вышла на палубу и стала на носу, на самом ветродуе. Ночь шел пароход до Красногорья, и всю ясную эту белую ночь Анисья простояла на палубе, глядя на родные берега, мимо которых провезли ее на тюремной барже больше четверти века назад.

— Анисья Демова,— вздохнул председатель колхоза (тогда еще колхоз последние годочки доживал).— Что же мне с тобой делать-то, Анисья Демова?

— Ты начальник, ты и думай,— безразлично сказала она.— В тридцатом, значит, знал, что делать, а теперь, значит, не знаешь?

— В тридцатом я, Анисья Поликарповна, без штанов еще бегал. Ты из Демова родом?

— Демова из Демова.

— Демова из Демова,—повторил председатель.— Там за мной четыре десятка пустых изб числится: может, сторожихой туда, а? Любой дом выбирай, разбежалось твое Демово. Одна глухая старуха Макаровна век доживает.

— Одна? — улыбнулась Анисья. Спокойно и горько.— Там одних раскулаченных двадцать три семьи было. Помнишь, бесштанный?

— Помню,— кивнул председатель.— Хоть я сам курский, а помню. Все помню. Хочешь, корову тебе дам?

— А на... мне она? Церкву красногорскую ты закрыл?

— Опиум это, Демова,— поморщился председатель.

— Вели мне оттудова икону выдать. Матерь божью.

— Молиться решила? Брось, Анисья Поликарповна, ты такое повидала, что тебе и божий гнев — мармеладка.

— За вас бога молить буду,— сказала Анисья, вставая.— Жалко мне вас, дураков.

Всю беседу она рвалась спросить, цел ли ее дом — дом, в котором родилась, в котором жила и из которого забрали. А если цел, то кто живет в нем сейчас, а если никто не живет, то можно ли ей, и до сей поры нерощенной арестантке, хоть ночку под родным кровом провести. Но духу у нее на этот вопрос не хватило.

В Красногорье Анисья никого не знала, потому что тогда, девчонкой, ходила сюда нечасто, а еще потому, что была демовская. До германской их село не только не уступало Красногорью, но и считалось посолиднее, подревнее и побогаче, а как пришла война, так и стало Красногорье переваживать старого соперника, поскольку имело пристань с глубоким фарватером, и дешевый водный путь в конце концов затмил собой древние привилегии Демова. И то ли из Красногорья мужиков в те лихозимья меньше гибло, то ли умнее демовских они оказались, а только после гражданской войны Демово окончательно отошло на второй план, и всякие комитеты располагались ныне в Красногорье. Все тогда располагалось в Красногорье, но отзвуки старого соперничества еще жили в людских душах, и пятнадцатилетняя глазастая Анисья Демова из Демова Красногорье не уважала и с красногорскими не дружилась. А теперь не у кого оказалось спросить, не с кем словцом перекинуться, и получалось так, что на своей родине она — как посторонняя. Чужая как бы, и поэтому после беседы с председателем Анисья пошла в родимое Демово одна с неразделенной тяжестью.

— Все версты бегмя бежать хотелось, уж так меня скипидарило, так скипидарило. А на плечи давит, будто чугуном накрыли, и воздуху в грудях нет. Как сперва-то шла, так и не помню, ноги сами тащили, а я в тоске исходила. Хоть бы слезиночку, думаю, уронить, все бы полегчало, ан не дал мне господь слезиночки, а опамятоваться дозволил аккурат у места, где я свой первый грех приняла...

Так рассказывала мне о последних шагах до дома Анисья: по третьему лету знакомства она стала со мной откровенничать. Баба Лера ушла в глухомань, в старые скиты, о которых ей поведала полумертвая старуха из Красногорья. Стоял звенящий оводами июль, душно пахло цветеньем в перестойных лугах, и мы с Анисьей горько праздновали очередную годовщину ее возвращения.

— По шестнадцатому году влюбилась — как обварилась: и вдруг, и до крика. До того дружилась, плясала, петь была голосиста и в первой спелости; парни потискать горазды были, но по-хорошему, сколько сама дозволяла. А я все баловалась: разрешу, пока он кровь мою не подожжет, да и деру. Пылаю, хоть блины на щеках пеки, а больше ни-ни, ни краюшечки...

Анисья вертит в корявых пальцах стакан и улыбается уцелевшими резцами. Рыхлый нос ее с широкими ноздрями плавает в испарениях мерзкой, местного разлива водки, не чуя ее, а чуя далекие ароматы ранней юности, жаркое дыхание первых страстей и дым родного очага. И вся она сейчас отмягшая, тихая, добрая — такая, какой и предписано ей было быть.

Зноем, хвоей, смолой и земляникой дышал бор, по которому в беспамятстве бежала Анисья. Давила муравьев зековскими башмаками, перла на спине зековский сидор с остатками зековского довольствия, обливалась пóтом под зековским серым ватником. И вроде узнавала вокруг и вроде ничего не узнавала и ужасалась, что не узнáет, и еще больше ужасалась, что узнáет. И не плач, не стоны — рык звериный рвался из нее вместе с жарким дыханием, и совсем по-лошадиному екающей селезенкой. Сорокатрехлетняя Анисья Демова спешила к отчему порогу.

Вначале она нестерпимо, до рвущей боли в гортани, захотела пить, а уж потом как-то вдруг увидела лес, суетливых муравьев, недвижное кудрявое облако над головой. Остановилась, будто наткнувшись на что-то, услыхала жужжание деловитых шмелей, чуть слышное шуршание давно опавших иголок, звон оводов вокруг собственного разгоряченного тела — и опамятовалась. Оглянулась, сразу вспомнив: «Тут ведь свернули тогда, к роднику». Поискала тропку, не нашла и грузно двинулась напрямик, круша подлесок, продираясь сквозь кусты, топча черничник с перезрелыми ягодами. И через двадцать семь лет без дорожек и зарубок, сквозь чащобу, вышла к еле приметному, заиленному, давным-давно никем не чищенному роднику. «Здравствуй»,— шепнула душа ее, и напряженное тело вдруг ослабло, ноги подкосились, и Анисья опустилась прямо в ольху, с хрустом ломая ветки. «Тут-тут-тут. Тут-тут-туттут...» — вразгон понесло сердце. Сюда привела ее первая любовь, здесь она со счастливыми слезами отдалась ей, и здесь же распрощалась навсегда. На всю ту жизнь, что украли, и на тот отметок, что вернули, «прости» не сказав...

— А ведь к тебе бежала я с высылки. К тебе, родимый ты мой...

Ах, хорош был Митя Пешнев — с пышным чубом и нездешними цыганскими глазами, первый комсомолец их степенного Демова. Девки вокруг него табунились, глаза кидали, зубками слепили, а он за Нюшей Демовой ходил, как нитка за иголкой. Завлекал гармошкой, сочинял припевки, объяснял текущий момент, тискал, когда позволяла, без самодовольства. И Нюше было с ним интересно, и тянуло ее к нему, и мечтала она о нем, и точно знала, что не минуют Митькины сваты их большого даже для богатого Демова, на веки вечные рубленного дома. И Митя знал это, часто говорил о будущей жизни, прикидывал, как и что. А однажды вздохнул озабоченно:

— В ячейку вызывают. Так что не свидимся сегодня.

— Так не до зари ведь,— улыбнулась Нюша.— Ты на ячейке поговоришь, а я — на завалинке. А домой вместе пойдем.

Она и до того дня, случалось, провожала своего Митю то в ячейку, то на собрание бедноты, то на встречи с товарищами уполномоченными. У Красногорья расставались: Митя шел в сельсовет, а она — к девчатам. Плясала, пела да смеялась, пока дролечка заседал, а возвращались вместе, и эти возвращения Нюша очень ценила. Если честно сказать, то ради них и топала четырнадцать верст туда да столько же и обратно, целуясь да прижимаясь через каждые сто шагов. Но в тот вечер он заседал дольше обычного — уже почти все красногорские девчата по домам разошлись — и вышел чернее тучи. Нюша спросила, что это с ним, а он сказал, что ничего, что устал просто, а взгляд был растерянный. И так случилось, что возвращались они одни, Нюша что-то говорила, а он молчал и обнимал ее строго, будто муж.

— Ты что так-то, миленький? Может, обидел кто?

— Ах ты, Нюша ты моя! — со стоном выдохнул он.— Да я за тебя, знаешь...

Так сказал, с такой болью, что Нюша со всей нежностью прижалась к нему, впервые по-женски прижалась, всего обволакивая и ничего не пугаясь.

— Коли так-то, чего же сватов не шлешь?

— А вот и пришлю,— он начал задыхаться, сердце заколотилось, она слышала этот стук и млела.— А вот и пришлю. Может, завтра же. Завтра... Пойдем, а? Пойдем, пойдем.

— Куда же? Куда, мамочки...

Знала ведь, зачем уводит с дороги, жар его чувствовала, дыхание, клекот сердечный. Знала и пошла, потому что не в силах уже была справляться со своим жаром, своим дыханием, своим клекотом в сердце. Пошла и покорно опустилась на траву, и сейчас сидела на том самом месте. За это время тут ольха выросла, но тело ее именно здесь подломилось, как подломилось тогда, и Анисья тяжело рухнула в сочно затрещавшую ольху, постарев на двадцать семь зим.

— Я по своей воле один разочек грех приняла. Один-единственный, так неужто господь не простит?

Никогда уже не испытывала она той сладкой боли и той нежности к тому, кто причинил ей эту боль. Она стянула с головы платок, жесткие, серые от седины и пыли волосы рассыпались по сутулым плечам, острый ольховый сучок колол сквозь толстую юбку, а Анисья все пыталась вспомнить ту боль, но вспоминались иные. Несладкие боли вспоминались, а она все сидела и сидела, все ждала и ждала...

А Митя тогда сдержал слово: на следующий день пришел.

Вместе с уполномоченным, милиционером и двумя активистами. Глядя поверх голов, расстегнул портфель, сверкнув никелированным замочком, достал бумагу, зачастил:

— На основании постановления общего собрания все хозяйство переходит в собственность колхоза, а вы, Демовы, ссылаетесь в отдаленные края, как вредный для социализма элемент...

Она не слышала, как голосила мать, не видела, как выносили замертво рухнувшего отца, как взяли братьев,— она смотрела на Митю. Она искала его глаза, а видела портфель и холодного зайчика, прыгавшего на стенку от никелированного замочка.

— Значит, ты знал вчера, что нас кулачить будут? Скажи, знал? Знал?

Митя не ответил. Сел к столу, достал чистую бумагу, ручку, пузырек с чернилами — аккуратный был паренек и запасливый — и начал переписывать инвентарь. Живой и мертвый.

— Лошадей три, из них одна кобыла жеребая...

Неприкаянно сидела Анисья, неприкаянно ждала, и вся жизнь представлялась ей неприкаянной — прошлая, настоящая и будущая. Не приходил тот сладкий час ее тела, тот восторг ее души, та немыслимая нежность ее женского существа. Даже на миг ничего не возвращалось, и, поняв это, Анисья перестала вспоминать. Выдохнула застоявшийся, саднящий стон, огляделась.

Не билась струя в роднике, не цвели его берега, и она подумала, что живая вода ее молодости замутилась и заилилась, цветущие нивы души заросли кустами да кочками, и что деревенеет она изнутри. Встала на колени, глотнула затхлой, болотной воды, перекрестила бывший родник, изломанный ею куст, что вырос на том месте, саму себя перекрестила и потащилась дальше. В бывшее село Демово.

Теперь она шла медленно, глядя в землю и ничего не видя. Ее уже не интересовали такие знакомые и такие чужие места, она уже не торопилась в опустевшее село, где и родной могилы не могла бы сыскать без чужой помощи, она уже не вдыхала прогорклой грудью настоянный на детстве воздух. Она отрешилась от всего, ушла в себя, она вспоминала и думала, неторопливо вороша в душе свалявшиеся пласты прошлого. Думала о своей любви, о своем единственном часе и о Мите, который подарил ей этот огненный час. Думала без всякой обиды, без всякой горечи, а с тихой радостью, что было у нее это пламя, и что, стало быть, счастливая она, и у нее найдется, в чем покаяться, когда предстанет перед Высшим Судом. «Уж там-то, поди, за это на общие не

пошлют,— с некоторым ликованием думалось ей.— Уж там-то, может, в каптерку какую пристроят или при раздатке...»

Дорога стала круто спускаться, сосны отступили, сыро зашелестел ольшаник, и Анисья вспомнила, что сейчас будет запруда и мельница, что урчала по осени днем и ночью, безостановочно урчала, а подводы с зерном иной раз выстраивались и на версту, и где жила знакомая девчонка Нюра. И когда случалось им ходить с Митей в Красногорье, они всегда отдыхали на этой мельнице, и Нюра поила их молоком. Двадцать семь лет не пила она молока, и сейчас, вспомнив о нем, ощутила вдруг давно забытый вкус. «Ах, молочка бы испить, молочка бы»,— вздохнулось ей, и ноги сами заспешили к повороту. Она завернула за этот поворот и стала, будто налетев на стену.

Не было мельницы, не было плотины, не было широкого плеса за этой плотиной, где на зорях упруго били горбатые озерные окуни. Не было людского жилья, не было скотины, не было живых звуков, а было гнилое болото, заросшее саженной крапивой место, где стоял дом, да жалкий ручеек, который можно было перейти, ног не замочив. И от всего — от шума воды, скрипа мельничного колеса, фырканья застоявшихся лошадей, от людского гомона, смеха, веселой ругани, песен и трудов остался забытый вкус молока. А потом и он пропал.

В родное Демово Анисья пришла белым вечером, таким тихим, что было слышно, как под обрывом играющая зоревыми всполохами Двина покачивает гальку у берега. Мучительно вслушиваясь, долго стояла у околицы, ловя голос, мычание, лай собачий — хоть какой-то звук, хоть тень жизни: она вдруг забыла, напрочь забыла о словах председателя. Но мертво молчало мертвое село, скорбно глядя на мир провалами выбитых окон. Понапрасну прождав, Анисья задами, через непролазную крапиву, разросшуюся на бывших огородах, спустилась к реке. Вдали тащился плот, пыхтел, изнемогая, буксир, но их демовский берег был пустынен. Ни одной лодки не было ни на реке, ни на берегу, ни одного мальчонки не плескалось в воде, и прибрежный песок не сохранил ни единого следа человека. И было так пусто в мире сем, будто минул пятый день творения и Богу еще только предстояло создать человека. Анисья вздохнула, разделась догола и тихо-тихо, мелкими шажками вошла в Двину. Опустилась на колени, и вода ей стала до подбородка. «Здравствуй, родимая,— шептала она дрожащими губами, не замечая, как по лицу текут слезы.— Здравствуй, матушка Двина моя. Крестили меня в твоей воде, вот и вернулась я. А ты, матушка, будто по погосту текешь, будто одна я живая на бережку твоем, будто сдвинулось все, и пропала я в чужом краю, в чужом времени, в чужом племени. Так прости ж ты меня, матушка, что не сберегла я жизни звон на берегах твоих...»

Анисья никогда не была религиозной, в церковь ходила по родительскому приказу, а когда Митя-дролечка сказал, что бога нет, то и совсем от церкви отвернулась. И службы все перезабыла, и праздники из головы выбросила, и даже из «отче наш» только первых пять слов в себе сохранила. И в лагерях поначалу не до бога было, да и не нужен он ей был вовсе, но чем дольше сидела, тем все чаще на ум один вопрос приходил: о справедливости. И так получалось, что на земле эту справедливость уж и не сыщешь, а чтоб не пропасть окончательно, чтоб хоть во что-то верить, хоть во имя чего-то зубами за жизнь эту проклятущую держаться, пришлось вспомнить о боге. Мол, лютуйте тут, сколько влезет, а там вы бессильны, а так как я есть безвинная, то там-то уж мне непременно снисхождение будет. Вот таким образом Анисьин бог принял форму высшей справедливости, и жила Анисья теперь для того, чтоб после смерти все ему рассказать. Без злобы, без слез, без обиды. Просто рассказать, как есть: пусть узнает, как тут, на земле, люди друг над дружкой измываются, друг перед дружкой на брюхе ползают, друг дружку предают до первых петухов. Пусть все узнает и меры примет, а ее велит куда-нибудь к сытному и чтоб работать не до надрыва. Вот какой странный бог жил в душе Анисьи Демовой, а поскольку никаких молитв она не помнила, то сочиняла их сама, смотря по обстоятельствам.

Умывшись, Анисья надела сбереженную белую рубаху, причесалась, напялила зековскую обмундировку и неторопливо стала подниматься в село по



давным-давно нехоженному изволоку. Сердце ее колотилось хоть и быстро, но ровно, и ноги лишь чуть подрагивали, когда она проулком вышла на мощенную крупным булыжником главную улицу. Теперь поверх булыжника трава выросла, хоть косой коси, но она помнила, как гордились демовцы этой булыжной мощенкой перед красногорскими, у которых и по сегодня такой улицы не было. По обе стороны еще прочно стояли дома, еще глядели друг на дружку, и Анисья шла посередке, узнавая: «Сикотиных дом. Савастьяновых — здравствуйте, родня все ж таки. Чекалкиных...» За Чекалкиными на отступе стоял их дом в два этажа с хлевом под клетью, с прирубленными службами под общей крышей на восемь комнат и залу в четыре окна в палисадник, и...

И ничего не было. Ничего. Бугры, бурьяном заросшие, четыре валуна под углы да чудом уцелевшие пять ступенек крыльца — уже втянутые в землю, уже мхом заволоченные. И все.

— Все!..

Что мочи крикнула, а на ногах устояла, закачалась только. И долго кача-

лась, закрыв глаза, так долго, что потом и припомнить не могла, сколько же это часов качалась она перед родным пепелищем. Потом очнулась, скинула мешок, опустилась на колени, ладонями дорожку к уцелевшим ступеням подмела и сама ступени от мха очистила. Тряпочкой до блеска протерла их, поцеловала, встала, взяла сидор свой каторжный и низко-низко поклонилась.

— Здравствуйте,— сказала.— Здравствуй, батюшка мой Поликарпий Сазонтович, здравствуй, матушка моя Лукерья Фоминишна, здравствуйте, братаны мои родные Федор Поликарпович и Данила Поликарпович. Вернулась я. Низко вам кланяюся.

И по ступенькам чинно-благородно вошла в дом. Все повороты исполнила сквозь бурьян и крапиву, все двери открыла, все порожки перешагнула, все сени прошла и вступила в залу, что четырьмя окнами глядела когда-то на улицу, откуда мать домой ее кликала, до пояса из окна высовываясь.

— Нюша! Нюша, доченька, где ты?..

— Здеся,— хрипло сказала Анисья, опять не замечая, что по лицу ее давно уже ручьями бегут слезы.— Здеся я, маменька. Не кори, что долго не шла, воли на то моей не было.

Поклонилась углу красному — там лопух вырос, что куст, хоть прячься под ним. Сняла котомку, достала выпрошенную у председателя иконку и свечку, которую еще в Котласе в керосиновой лавке купила. Приладила иконку, затеплила свечку и села в бурьян, где положено: с краю стола, слева от матушки. Вынула из мешка хлеб, селедку, луку пучок, пачку маргарина, на отца покосившись, не заругает ли — вон там, где лопух, там сидел всегда,— бутылку водки выволокла. И вздохнула:

— Вернулась я. Дозволили.

Чинно поужинала, крошечки не уронив. Собрала все в мешок. Отошла в угол, утоптала бурьян, легла, мешок под голову приспособив и ватником укрывшись. Теплилась свечка в белой ночи под лопухом, горько и строго глядела с иконы Матерь Божья, с низин туман тянулся, сырость ночная, а Анисья ничего не чувствовала. Спала Анисья. Сладко спала в отчем доме, вернувшись через двадцать семь зим.

5

— Нюша, доченька, вставай, родимая. Вставай, кралюшка, уж рожок пропел, уж коровушку гнать пора...

Ах, как певуче, как ласково звучал материнский голос в затоптанной и поруганной душе! Не словами — самой интонацией, строем своим, мягкостью, округленным «о» и чуть ощутимым древним новгородским цоканьем: «доценька...» И уже дрогнуло жестокое лицо Анисьи, готовое отозваться улыбкой, да изменился вдруг голос маменьки:

— Ты это чего тут, а? Ты кто ж это, а?

Над Анисьей согнулась рыхлая бесцветная старуха. Ничего не осталось в ней от прежней молодости — даже брови вылезли,— но двадцать с лишним лет, выкинутых из жизни, не выкинулись из памяти, и Анисья сквозь старческую дряблость увидела крикливую Палашку Самыкину, всегда чем-то недовольную, всегда что-то требующую, всегда где-то шумевшую.

— Докричалась, значит, Палашка?

— Постой-постой,— старуха отступила, замахала рукой.— Ты... Чья ж ты? Чья будешь?

— В дому я собственном,— строго сказала Анисья.

Жужжала ей чего-то Макаровна. Пока прибиралась — жужжала, пока в Двине умывалась — жужжала, пока назад ворочались — жужжала. А потом к себе зазвала чай пить. Хотела Анисья послать ее по-лагерному, да Палашка вовремя о чекушке помянула.

— Ах ты, Нюшенька ты Демова, горькая головушка! — сокрушенно вздыхала старуха, не скрывая радости, что теперь ей не одной загибаться тут, в мертвом Демове.— Поди домашнего не пробовала, поди забыла уж.

— То, чего я забыла, то и ты не помнила,— отрезала Анисья.

Она сидела в горнице, загроможденной множеством старых вещей, брошенных за ненадобностью и притащенных хлопотливой Макаровной в свою избу. Источенные червями самодельные и фабричные шкафы и шкафчики — с дверками и без дверок, с полками и без них; разнокалиберные столы и стулья, комоды и кровати, полки, лавки, диванчики и скамеечки — даже старая зыбка, в которой выросло не одно поколение демовцев — давили на Анисью со всех сторон, и она начинала злиться. Уже закипало все в ней при виде остатков той, прежней жизни, которая столько лет была ее недосягаемой мечтой, и лишь сейчас, с этого вот мгновения, начала превращаться в прошлое, осознаваться тем прошлым, в которое никогда-никогда не будет ей возврата, даже если и отсидит она все навешанные ей сроки. И от этого становилось темно и тревожно, хотелось вскочить и бежать, бежать без оглядки, бежать... «Куды?..— горько подумалось ей.— Где оно, пятнышко мое родимое, горстка землицы моей?..» И понимала, что нет и никогда уж не будет у нее горстки земли детства своего — той земли, по которой ходили ее отец и мать, ее братья и сестры, ее дядья и тетки, родные и знакомые, односельчане, дружки и подружки. И от этого понимания поднимался со дна души черный осадок горечи.

— Сейчас картошечки приспеют,— ворковала Макаровна, накрывая на стол.— Вот-те грибочек наш, вот те...

— Натаскала ты цельную каптерку,— зло усмехнулась Анисья.— Животом не маялась, когда перла?

— Так ведь брошенное, не пропадать же. Народ с места стронулся...

— А про общее орала — в ушах звон. Ничего-де нам не надобно, окромя светлого будущего. Вот оно, твое светлое будущее: одна в пустом селе с наворованным дерьмом.

— Ай, да что старое поминать! — Самыкина махнула рукой и попыталась улыбнуться, но дряблые губы ее так в улыбку и не растянулись.

— Давай водку, а то я тебе, дырявая кадушка, такое старое припомню, что ты у меня сама в сундук заместо гроба ляжешь и крышкой укроешься. Ну?..

Никак не могла она оторвать глаз от собственного детства, что вдруг стеснило ее со всех сторон не туманными образами, не воспоминаниями, а грубыми предметами простого и прочного быта. Даже зыбку помнила она, хотя была младшей, и зыбка уж не качалась середь горницы, а хранилась в холодной половине; и деревянный диванчик был в точности как у них, и буфет такой же — только со стеклянными дверцами, а не кое-как забитыми фанерой. Все, все было оттуда, все скребло, бередило душу, поднимая из мрачных провалов ее все новые и новые пласты горечи и злобы. Ах, каким же все оказалось горячим, каким болезненным, а она-то думала, что давным-давно все забыто, а если и не забыто, то схоронено в таких тайниках, в каких она признается только на Страшном Суде, когда каждому воздастся по мукам его.

— Да скоро ты там, квашня убогая? — гаркнула она, заглушая звенящий стон звериной лагерной тоски, что подступал уже к самому горлу.

А после первого стаканчика отпустило. Правда, наливала она себе сама, хорошо наливала, а остаток плеснула вмиг поджавшей губы Макаровне. Хватанула с чувством, с верой, что поможет, что снимет звон этот,— и помягчела. Молча катала в беззубом рту грибки, вспоминая давно забытый вкус их и запах, и всхлипнула, не сдержавшись:

— Где грузди брала? За оврагом?

— Там, милая.

— Не перевелись еще?

— Так переводить некому. Кого убили, кого сослали, кто сам убег.

— Хороший там груздь, хрумкий,— Анисья откинулась от стола, уже другими, отмякшими глазами оглядела загроможденную горницу.— Из нашего чего тут? Не соври, смотри, поберегись.

— Ничего. Вот те крест святой, ничего, Нюшенька. Сгорел ведь он, дом-то ваш. Еще до войны, за вами вскорости. Году в тридцать четвертом вроде. Не помню. Митька в нем...

— Женился? — вдруг перебила Анисья.

— Женился. Известно, мужик молодой...

— Кого же взял?

— Учителку городскую привез. Худющая — и лечь не на что. Все в беретке ходила...

— Ну, а что дом? — опять нетерпеливо перебила Анисья: ей не хотелось слышать о худой учителке.— Кто жил в нем? Они?

— А никто не жил. Митька там Красную избу открыл. Книжки собрал, картинки всякие, граммофон. А в большой горнице переборку снял и помостки устроил, как в театре. Про попов и кулаков представления делал под гармошку. Молодые не только что из Красногорья — из Верхнеспасова ходили. Раз подрались, так еле утихомирили. Ну, дом и сгорел.

— Поджег кто?

— Может, поджег, может, сам собой — кто ж ведает? Долго тут гепеу шерстило, на допросы тягали, а потом Митьку увезли вместе с учителкой.

— Как увезли? — ахнула Анисья.— Куда ж увезли-то, господи?

— Сказывали так, что туда же, куда и тебя.

— А его-то, его-то за что же? Он же им служил, как не всякая собака...— она громко всхлипнула, затряслась, замахала рукой.

— Жалеешь, стало быть,— помолчав, горько вздохнула Макаровна.— Ах ты, баба, баба. Он тебя сгубил, а ты — вона как... А у нас, помню, мужики говорили, что, мол, бешеный пес всегда до пули добрешется. Вот, значит, и добрехался...

— Ах ты, Митенька ты мой,— не слушая, шептала Анисья.— Ах, какой же лютостью господь-то тебя покарал. Не мог ты там жизнь свою спасти, не мог, хребта в тебе не было.

Что-то бормотала Макаровна, но Анисья уже не слушала ее. Она представляла себе Митю — того Митю, Митеньку ее! — в отрицающем жалость и сострадание зверином лагерном житье, понимала, что не видать ему там пощады, и что, пожалуй, лучшая доля его, если забили сразу. А могли ведь и не забить, могли холуем сделать, на побегушках, кухонным мисколизом или барачным шутом, которого смеха ради любой блатной торбохват мог заставить такое прилюдно сделать, после чего и петля в сортире отдушиной кажется. Видала она таких мужиков и таких баб, нагляделась на них вдосталь, до отврата, до конца дней своих нагляделась и знала, что ничего нет горше медленного их умирания. И никогда ей ни чуточку не жаль было их, не тратилась она на жалость, презрением обходясь, но то же были неизвестные ей доходяги, дешевки, а то — Митя. Митенька ее, первый ее, единственный ее, любочка ее родимая...

— Давай еще водки, старая. Давай, не жмоться, пока душу не вынула.

Не пожмотничала Макаровна — пол-литру принесла. Сама и разлила, а свой стакан придержала.

— Погоди, погоди. Сказать тебе должна, чтоб уж сразу. Долго грех на плечах волоку, вроде стерпелась уж, а тебя увидела — и невмоготу. Повиниться хочу, а то душа сердце жмет. Так жмет, так уж жмет...

— Ну, завела,— Анисья закурила, откинулась к спинке стула, обвела глазами рухлядь.— Пограблю я тебя, Палашка, мне жить здесь указано.

— Ты погоди, погоди,— Макаровна вся была во власти принятого решения.— Ты послушай меня сперва, послушай, а потом — хоть простишь, хоть убьешь.

— Да не мусоль!

— С чего начать-то, с чего, а? Может, с удивленья, за что же это господь бог наш, всемилостивый наш руку свою тяжкую на народ русский наложил?

— Бога вспомнила? — зло захохотала Анисья.

— Ты погоди. Ты же не знаешь, ты и духом не чуешь, как жилося нам тут после войны. Мужики, которые вернулись, либо калеки калеченные, либо на лесоповал обратно мобилизованы были вместе с девками, а оттуда, из лесу-то, почитай, никто уж не вернулся. Кто там богу душу отдал, а кто бежал без оглядки, куда только ноги снесли. Вот тогда-то и стало кончаться Демово наше: мужиков нету, баб молодых нету, скотину еще в войну забили, а хлебушко по всем закромам подчистую подметали. Как нагрянут полномоченные, так стон стоит над селом, будто война, а что поделаешь-то? Что поделаешь, когда на нас налогу уж и на грибы наложили? На грибы, Нюшенька!

— А разве вы не за это самое на сходках-то глотки драли? — непримиримо усмехнулась каторжанка.

— Мы не за это,— помолчав, тихо и строго сказала рыхлая старуха, и бесцветные ее глаза вдруг подернулись сухой и горькой слезой.— Мы за справедливость, за светлое будущее, а тут оно так все обернулось, что годами карасина не видали. Как война началась, так и исчез он, а как кончилась она, тоже не появился. При жировиках жили, а то и при лучине, вот оно как, Нюшенька дорогая, а уж что дети наши ели, то не всякая свинья сожрет, а хлебушек делили, будто просвирки, будто и вправду он — тело Господне. И вот тут... тут, Нюшенька, вышло такое приказание, что ежели кто беглого властям выдаст, тому за это хлебца цельную буханку и карасину десять литров...

— Это каких таких беглых?

— А разных, много их тогда было. И с лесоповалу бежали, и из лагерей, и дезентиры которые. Летом в лесах прячутся, а зимой их к жилью голод с холодом гонют. Вот тут их... за десять литров карасина...

Старуха замолчала, со страхом глядя на Анисью. Но каторжанка только грустно улыбнулась.

— А помнишь, по ночам огонь жгли и хлебушек под окном оставляли? Было это или, может, приснилось мне?

— Было, Нюшенька,— Макаровна гулко сглотнула слезы.— Июды мы, и я — Июда первая. Я твоего родного брата Данилку в погреб заманила, когда он у меня заночевать попросился. Пять ночей крошечки во рту не держал, как из лагеря сбег, а я его — за карасин да буханку!..

Последние слова она выкрикнула судорожно и тяжело бухнулась в ноги. Анисья молча курила, сверху глядя на рыхлую трясущуюся спину: только желваки ходили на скулах.

— Велено было, велено...— в пол, глухо и жалко бормотала старуха.— А у меня дети, травой кормленные, будто поросята, животы у них пучит, глазки болят...

— Дети? — отрешенно спросила Анисья.

— Старшенького тогда в интернат взяли, а при мне — Вася да Манечка. А я — одна, мой-то, как в сорок первом пошел, так и...

— Погоди, какие дети? Ты ж старуха, Палашка, ты уж мне-то не ври.

Оторвала лоб от пола хозяйка, села на пятки, улыбнулась вдруг сквозь слезы:

— Да ты что, Нюша, ай, запамятовала? Да я ж всего-то на пять годков тебя старше. На пять годков всего.

Помолчала Анисья. Повертела стакан.

— И ты за керосин моего Данилу Поликарповича?

— Сними грех с души. Не вольна я в нем была. Не вольна.

— С того керосину, поди, и к водке потянулась?

— Кабы одна я, Анисья Поликарповна,— вздохнула Палашка.

— Ну, тогда садись. Помянем всех, кого вы тут не по своей воле на керосин сменяли. Садись, говорю, я зла не держу. Однако так скажу: лучше уходи. Сегодня мягкая я, а завтра найдет — удушу. Как бог свят, удушу я тебя, Палашка, не доживешь ты со мной рядом до своего полтинничка.

До смерти напуганная Макаровна хотела тотчас же убраться подальше, но Анисья не отпустила. Заставила бутылку допить, помянуть погибших, пропадших и погубленных, спеть песню и поплакать. А потом утерла слезы и встала.

— Жить я собралась, а не слезы лить. И жить буду у Савастьяновых — родней они нам доводятся, значит, по закону. Тележка у тебя найдется?

Покивала Макаровна.

— Запрягу я тебя в тележку, мебелю погружу, какая понравится, и попрешь ты, милая, за тот керосин.

К вечеру вдвоем и перетащили в огромный савастьяновский дом вещи, которые указала Анисья. Она не жадничала, брала самое необходимое, за долгие зимы свои познав истинную стоимость всего. Однако крестьянская жилка нисколько в ней не ослабла, и по части хозяйства Анисья нахватала

с изрядным даже перебором. Полночи возилась, неугомонная, совсем до черты Макаровну довела, а потом сказала:

— Ну все, считай, устроилась я. За подмогу благодарствую, а только на глаза лучше не попадайся. Не дай бог залютую, так и вправду порешу.

Макаровна поутру испарилась, будто и не было ее вовсе, и Анисья очень этому обрадовалась. За все распроклятые годы ей и часа одной быть не случалось, и теперь она превыше всего ценила одиночество, тишину и полную самостоятельность. Ходила по пустым избам, как в гости: здоровалась с хозяевами, расспрашивала о сверстниках, рассказывала о себе, а коли примечала что-либо полезное — инструмент или чугунок, годное ведро или старую лохань, то брала, как подарок, низко кланяясь и благодаря. Она не юродствовала, не скоморошничала: она обходила родное село, где знала каждого и где каждый знал ее. Навещала односельчан по издревле принятой очередности, никого не пропуская и никого не обижая — так, как мечтала навестить их все свои двадцать семь зим. И не ее была вина, что навещать оказалось некого...

Через неделю приехал председатель. Груженая телега была накрыта брезентом — с утра дождь накрапывал,— лошадью правил щуплый и вроде как перьями поросший старичок; председатель оставил его с лошадью на въезде, а сам нашел Анисью пешим ходом.

— Чего Макаровну выгнала? Два медведя в одной берлоге, что ли?

— Два медведя в одной берлоге, может, еще и уживутся, если крепко дрессированные, а вот две медведицы — никогда.

— Все-то ты, Демова, знаешь,— усмехнулся председатель и заорал: — Федотыч! На голос правь!

Старик направил, и телега остановилась возле дома Савастьяновых, а теперь — возле места проживания Анисьи Демовой. Федотыч поздравствовался, вместе с председателем убрал брезент, и Анисья увидела доселе скрытые им мешки.

— Чего это?

— Картошки, муки мешок, макарон немного. Еще два одеяла тебе положено, спецодежда и керосину бидон.

— А керосин-то за что же?

— Приказано заботу проявить,— улыбнулся председатель.

— Раньше, стало быть, на керосин нас покупали, а теперь —на заботу? Так, курский?

— Ох, и злыдня ты, Поликарповна,— беззлобно вздохнул председатель.— Только на меня тебе серчать нечего. Я, знаешь, кто таков? Я — бурмистр. Слыхала, поди, стихи: «У бурмистра Власа бабушка Ненила починить избенку лесу попросила. Отвечал: нет лесу, и не жди, не будет. Вот приедет барин, барин нас рассудит...» Вот, значит, барин и рассуживает, что вам сегодня положено — керосин или забота.

— А водки ты мне не сообразил?

— Я лучше сообразил, Анисья Поликарповна, я тебе мужика сообразил,— председатель указал на щуплого старичка.— Вот тебе Федотыч.

— Тю, мужик! — презрительно повела плечом Анисья.— Для меня ты — и то сперва с месяц салом откармливать надо.

Засмеялся председатель.

— Он — по другой части. Он тебе стекла вставит, двери навесит, полы переберет, жилье обиходит. Не гляди, что душа в нем на соплях подвешена,— руки у него золотые. Это тебе все, так сказать, от нашего колхоза,— он порылся в передке телеги, вытащил бутылку.— А спирт — это уж от меня. С возвращением тебя, Анисья Поликарповна, и с новосельем.

Застыла улыбка у Анисьи, будто примерзла: ни убрать, ни сдвинуть. Хотела лагерной прибауткой ответить, потом — матом позабористей, а вместо этого — поклонилась. И сказала, как положено, как тысячу лет до нее русские бабы говорили:

— Пожалуйте в избу, гости дорогие. Не побрезгуйте угощением нашим.

Поблагодарили, чинно в дом прошли, чинно за стол сели. Угощать, правда, Анисье было особо нечем, но время, сильно подправив старые традиции, спасо-

вало перед древними отношениями гостя и хозяина. И все шло, как надо, и слова говорились, какие требовались, и за черствую корку от всей души благодарили, и разговоры о хозяйстве вели неторопливые и основательные, и так хорошо у Анисьи на сердце стало, как давно не случалось. Так давно, что, поди, за это время и бабкой сказаться могла, не только что внуков — детей собственных так и не разглядев. Хорошо они эту бутылочку приголубили, полюдски, по-семейному. Потом председатель на телегу взгромоздился и подался в свое Красногорье, старик еще раньше с копыт брыкнулся, и теперь храпака задавал, будто вправду мужик, а Анисья, в дому не прибрав — ай, маменька заругала бы, ай, батюшка подзатыльник бы отпустил! — долго-долго по мертвому своему селу гуляла. К Двине выходила, любовалась зоревыми ее красками, вновь ныряла в улочки да проулочки, и шептала, несокрушимо улыбаясь:

— Не всех еще перевели, не-ет, не всех. Еще остались, еще жива, стало быть, она, родина моя. Нет, не выведешь нас, не сведешь, не вытравишь. Никакими Соловками не вытравишь...

И уснула хорошо, и проснулась славно: топор тюкал, ровно дятел. Спокойно, домовито, по-деревенски неспешно. И, завороженная этим стуком, этим покойным трудом, домовитостью и такой зримой, такой полновесной, так по-крестьянски осмысленной свободой своей, Анисья впервые ощутила, как сладко забилось вдруг ее иссохшееся сердце.

— А старичок глупый попался, на редкость глупый: решил, что в него влюбилась Аниша, и ну над нею куражиться,— рассказывала мне баба Лера.— А она не в него — она в мечту свою влюбилась, в мечту о доме, о семье, о заботе. Этого в женщине никакие лагеря не убьют.

Жажда заботы, которую испытывала Анисья, была куда сильнее всех прочих желаний и инстинктов: Анисья любила чистой и непорочной своей душой, с восторженным трепетом ухаживая за добровольно избранным властелином.

Она радостно кормила его и поила, обстирывала и одевала, чинила ему одежонку, топила по субботам баньку и с девичьей готовностью бегала за бутылкой в Красногорье. И лишь об одном решалась просить, всякий раз чуя, как замирает сердце:

— Топориком постучал бы, а?

— А чего? Ништо! Так сойдет!

— Федотыч, солнышко ты мое закатное, христом-богом молю. В детстве батюшка мой стуком этим будил меня на заре.

— Эка, глупая баба! Чего уж. Ну ладно, огурца соленого принеси. Огурца желаю.

Бежала Анисья за четырнадцать верст, выпрашивала, вымаливала огурцы, которых давно уж не сажали в этих краях напуганные многолетней бескормицей бабы, которые завозили в сельпо издалека и редко, куда чаще распределяя по родным и начальству, чем пуская в продажу. И это тоже было чудно Анисье, потому что огурцами в их Демове исстари занимались девчонки, и труд считался скорее забавой, хоть и солили те огурцы бочками. А ныне все тут сдвинулось, на огурцы сил уж никаких не хватало, и кроме картошки бабы сажали только лук, да кое-кто — помоложе да пошустрее — морковь, а больше ничего уж не сажали, уповая на картошку да на то, чем удастся разжиться в колхозе или прикупить в магазине.

— Скверно живете,— строго сказала Анисья, встретив председателя.— Думают абы день прожить, а о работе не думают.

— Это ты точно подметила, Демова,— вздохнул председатель.— Надорвались бабоньки мои, и хозяйство надорвалось. Деревня-то нынче на бабе стоит, вот какие дни развеселые.

— А чего луга запустил? Раньше луга были — по грудь, а теперь кусты да кочки.

— Косарей нету, Анисья Поликарповна. А машинам дороги нужны. Они без дорог, как мы без ног.

— Теперь ты понял, курский, кто таков есть бедняк? Бедняк, это который без дорог, как без ног. А мы, мироеды которые, мы по колено в топях сутками напролет косили и на себе траву до Двины выволакивали. Братаны мои, бывало, через порог переползут и — как мертвые. Мы с матушкой кой-как сапоги их мокрющие стащим, а самих не трогаем, пока в себя не придут. Слыхал о такой работе, председатель?

— В кино видел, Демова,— усмехнулся председатель.— Положило тебе правление триста рублей в месяц, а трудодни сочтем, коли будет, ради чего считать.

— Это за что же — триста?

— За то, видать, что я тебе нахлебника подсунул. Опять за водкой прибежала, непутевая ты баба? Ох, руки мои не доходят, а дойдут — накостыляю я твоему, Демова!

— Ладно, не твоя то забота,— проворчала Анисья и улыбнулась, не удержавшись, ощутив себя настоящей русской бабой, которой люто помыкает домашний царь-государь.

Влюбленность, в которую столь упоительно играла Анисья, кончилась в одночасье, и не случись тут Калерии Викентьевны, никчемный старичонка Федотыч кончился бы заодно с этой влюбленностью.

Анисья никогда, ни на одно мгновение не забывала о своей «Лере Милентьевне», старательно рисовала ей каракули на почтовых открытках и считала, что есть у нее, одинокой и обиженной, справедливая, строгая и прекрасная, как покойная матушка, старшая сестра. И в основном-то и была занята перепиской с сестричкой-каторгой да самоуничижением перед собственным мужиком.

И таяли, снегом под ярким солнышком, таяли скопленные надрывным трудом денежки.

Их начали выдавать за ударную сверхплановую работу еще в самом начале пятидесятых. А потом, после смерти вождя, и за норму тоже стали платить, правда, мало, не все, что положено, и не на руки, однако Анисья всегда была бережлива до скупости и работяща до беспамятства. А когда отпустили и заработанные до копейки выдали, она, хорошо знакомая со шмонами и с грабежами, все зашила в самые потаенные места и довезла до родимого Демова, копеечки по дороге не истратив. И спрятала все в облюбованном под жилье доме, поскольку никаким государственным учреждениям — а сберкассам в особенности — не верила. И брала из тайничка помаленьку, когда «сам» требовал, обещая за то топориком маленько потюкать. А потом получила письмо из Москвы, проревела над ним ночь и на другой же день выехала за своей единственной «Лерей Милентьевной».

— Аниша мне еще в поезде призналась: «Баба, говорит, я, Леря Милентьевна, глупая баба»,— грустно улыбалась Калерия Викентьевна.— А сама, вижу, прямо от счастья светится. Ну, думаю, влюбилась моя Аниша, и слава богу, что влюбилась, что хоть глоток чистый ей достанется после всей мути каторжной. Поздно приехали, во втором часу: храп висел над пустым Демовым. «Вот, говорит, мужик мой храпака задает. Никакого, правда, проку от него нету, кроме что звуки разные, а — приятно. Утром, говорит, сама познакомишься». А утром проснулась я — ничего со сна не пойму. Голосит кто-то дурным голосом. Выбежала я в одной рубашке — глядь, моя Аниша на веревочке за собою старичка ведет. Руки у него связаны, на шее — петля, и — орет. «Что такое?» — спрашиваю. «Вот,— говорит,— соколик мой проворовался, все денежки мои пропил-прогулял, и я его топить веду. Но не в Двину, чтоб не поганить, а в болото...» Еле-еле уговорила я ее смертную казнь высылкой заменить...

Улыбается Калерия Викентьевна. Грустно и ласково, трогательно и печально, вспоминая неуклюжую любовь дорогой своей Аниши.

— Выслала.

6

Да, Калерия Викентьевна Вологодова осталась на котласской пристани: это и поэтическая метафора, и реальность одновременно, потому что так она мне говорила сама. Она верила в одномоментность своего превращения, ибо отсюда пошел иной отсчет дней ее на этой земле, ее собственная шкала и мера. Но если несгибаемый дух Калерии Викентьевны был способен на мгновенную метаморфозу, то естеству понадобились ступени вживания в новую ипостась. И это опять-таки не мои домыслы, а собственные признания бабы Леры, умевшей смотреть не только вокруг себя, но и внутрь себя, в душу свою, которую она изучала постоянно с прилежанием и любопытством гимназистки.

— Я ведь не просто из привилегированного сословия, но и из семьи обюрократившейся, оборвавшей все связи с природой. Моя мать Надежда Ивановна, урожденная Олексина, получила весьма прогрессивное по тем временам образование и, представьте, нашла свое призвание в репортерской работе, хотя печататься ей чаще всего приходилось под мужскими псевдонимами. И в тысяча восемьсот девяносто шестом году в дни коронации Николая Второго репортерская судьба занесла ее на Ходынское поле. Она, в то время совсем еще юная девушка, уцелела чудом, истинным чудом, но навсегда утратила ясность и самостоятельность натуры своей. Моя тетя, старшая сестра мамы Варвара Ивановна, прилагала массу сил и средств, чтобы спасти маму, избавить ее от этого страшного недуга: возила по врачам, знахарям, спиритам, гипнотизерам, даже по монастырям, но все было тщетно. А мой отец Викентий Корнелиевич любил маму давно, еще с первого ее бала, первого выхода в свет: он был значительно старше мамы. Дело закончилось не очень-то веселой свадьбой, но зато родились мы. Первым — Кирилл.

Калерия Викентьевна вздохнула, скрывая неведомую горечь. Она, как правило, избегала рассказов о своих родных, о детстве и отрочестве — обо всем том, что было с нею до революции, словно шагнув в семнадцать лет за порог отчего дома, она шагнула в иное время, иную эпоху, где не оставалось места даже для памяти о прошлом. Я по осколкам собирал мозаику ее давно ушедших лет, потому что мне всегда казалось, будто портрет бабы Леры, лишенный исторического фона, будет неполным.

— Знаете, поначалу мне вообще представлялось, что я утратила решительно все корни,— помолчав, вдруг улыбнулась она.— Я боялась реки, не умела ориентироваться в лесу, долго не решалась босиком перейти болото. А потом все воскресло. Не возникло, а именно воскресло, ибо ничто, как выяснилось, не пропадает, все хранится в тайниках души нашей и при надобности воскресает, но человек обычно не способен уследить за логикой движения — он воспринимает лишь диалектику превращения, качественного скачка. И таким скачком оказалась для меня одна ночь, до ужаса напугавшая зарею вечерней и благословившая зарею утренней.

Баба Лера улыбается, и морщинки веселыми лучиками разбегаются от глаз к вискам, где голубовато светится бесконечно усталая, медленная кровь. И брови удивленно ползут вверх, собирая недоверчивые складки на лбу, словно баба Лера и до сей поры не верит в то, что с нею приключилось тогда.

— Я отправилась за морошкой в низовые леса...

— Голосить надо, коли по морошку идешь,— выговаривала ей трезвая и ворчливая Анисья.— Побрала ягодок — поори: мол, тута я, живая и хрещеная. Говорила я тебе, наказывала, а ты не послушала, вот тебя лешак-то и покружил.

— Покружил, Аниша, твоя правда.

Золотом горела спелая морошка во мшистом кочковатом болоте, просилась в руки, манила в глубину, с кисловатым пьяным ароматом таяла во рту. А брать ее следовало осторожно и не перезрелую — мягкую, тускло-желтую,— а в самом соку, в плотной спелости, в цвете лютика. Все вокруг было усеяно ярко-желтыми ягодами, но те, что светились впереди, казались лучше, сочнее, крупнее и ароматнее, и баба Лера, проваливаясь по колено в мягком сыром мшанике, давно уже потеряла направление. Задыхаясь, торопилась к новым россыпям, брала, не глядя, а глаза уже высматривали, куда идти дальше.

Неторопливый августовский комар, что еще гнездился в болотах и низинах, рвался к разгоряченному телу, зудел, жалил, пил кровь; отмахиваясь от него, баба Лера спешила поскорее набрать корзинку, поскорее выбраться на ветерок, на прокаленные солнцем сосновые взгорья, а потому и не озиралась. А когда стало смеркаться, когда вдруг дохнуло вечерней свежестью, настоянной на ягодах и болотном дурмане, опомнилась. Поставила корзинку, выпрямилась и медленно огляделась, но кроме бесконечных кривых сосенок не увидела ничего. И впереди и сзади, и справа и слева тянулись унылые тощие стволы, и было все равно, куда идти, потому что баба Лера ясно поняла, что заблудилась. И громко, сердито сказала:

— Вот глупость-то какая!..

В сыром застойном воздухе голос прозвучал глухо, будто тут же и осел, будто не поднялся вверх, не расплылся вширь, а остался рядом, и Калерия Викентьевна более уже не решалась ни кричать, ни говорить, ни даже громко вздыхать. И начала кружиться, страшась отступить от корзины, чтоб не остаться совсем одной в этом пугающе гулком пустом болоте. Кружилась на одном месте, пытаясь что-то понять, что-то сообразить, и с каждым мигом ощущая, как поднимается в ней уже неконтролируемый ужас. И безотчетно, беззвучно, но изо всех сил позвала того единственного, кто только и мог спасти ее сейчас: «Алексей!..» «Спокойно,— тотчас же откликнулось в ней.— Прежде всего, никакой паники. Четыре шага — вдох, четыре — выдох». И, подчиняясь его такому родному, такому усталому голосу, Калерия Викентьевна оборвала свое затравленное кружение и начала глубоко и сосредоточенно дышать, отсчитывая про себя шаги: «Раз, два, три, четыре...» Дыхание постепенно выравнивалось, сердце успокаивалось, и баба Лера физически ощутила, как отступает, прячется вынырнувший вдруг ужас. И с гордостью улыбнулась в сырой сумрак болота:

— Все хорошо, Алексей. Не волнуйся, родной, я — из твоего ребра.

На сей раз она не испытала ни страха, ни смущения, хотя звук ее голоса попрежнему остался рядом, не сумев прорваться сквозь вязкую броню болотных испарений. Она уже пережила мгновение ужаса, преодолела страх, подавила нараставшую панику, и это стало первой ступенью ее возврата к естественной жизни, к природе, от которой много веков было отторгнуто ее «я», растворенное в бесчисленной чреде предков, а в начале двадцатого века сконцентрированное в крошечной девочке Лерочке, жадно и неумело ищущей губками материнский сосок. Но тогда, стоя по колено в гнилой воде, баба Лера еще не осознала, что это — ступень: она лишь почувствовала свободу, избавившись от страха перед лесом, сумерками и безбрежным болотом, и сердце ее билось чуть чаще обычного именно потому, что она впервые ощутила дуновение этой самой древней из всех человеческих свобод.

— Все так просто, но я постигала эту простоту с тупостью закоренелой двоечницы. И сразу же стала припоминать что-то из гимназии: с какой-то стороны ветви гуще, с какой-то — муравейник, с какой-то — мох. Но мох был здесь везде, ему было все равно, где у людей, юг, а где — север, он рос, как хотел и где хотел, и это быстро отрезвило меня. И пока еще не совсем стемнело, я стала присматриваться, где повыше деревья, и пошла туда, не успев как следует подумать, почему я поступаю именно так.

Идти было очень трудно: баба Лера находилась и накла́нялась, напугалась и наволновалась. Корзина, полная отборной морошки, с каждым шагом становилась все тяжелее, но Калерия Викентьевна ни разу не подумала, что можно высыпать ягоды, а завтра прийти и набрать новых. Она упорно волочила корзину по пышному моховому ковру, тяжело оступаясь и то и дело по колено проваливаясь в воду. А сумерки сгущались, темнота окутывала деревья, откуда-то выполз туман, но баба Лера упорно шла и шла, и твердо знала, что идет она правильно.

Подъем был почти неприметен, бесконечно длинен и неудобен, но в конце концов Калерия Викентьевна одолела его. Кончилась вода под ногами, пошли кочки, нежный мох сменился хрустяще сухим, и баба Лера с огромным облегчением смогла, наконец, присесть и перевести дух. Она по-прежнему не имела никакого представления, где ее дом, как выйти на дорогу или к реке, но сейчас

эти мысли ничуть не беспокоили ее. Она знала, что именно *не знает,* и эта конкретность представлялась обычной, почти обыденной. Надо ждать, пока рассветет, спокойно ждать, без паники и мрачных предположений, ждать — самое простое и мудрое из всех мыслимых решений. Здесь сухо, можно вытянуть ноги, прислониться спиной к стволу и думать. Слава богу, она не растеряла этой наивысшей свободы духа человеческого, ну, а размышлений и воспоминаний ей хватило бы и на бессрочный Алексеевский равелин. Баба Лера улыбнулась обступающей со всех сторон тьме и не без удовольствия прикинула, о чем она будет вспоминать. Выстраивала цепочку, чтобы воспоминания не повторяли, а дополняли друг друга, чтобы не остались отдельными пятнами, но слагались в мозаику, чтобы были честными и чистыми, как давным-давно вычеркнутая из обихода исповедь.

Первым делом, однако, Калерия Викентьевна стащила резиновые сапоги, вылила из них воду и натолкала внутрь сухого мха. Потом уложила их так, чтобы ветер задувал в голенища, набрала побольше сухой травы, устроила удобное место и как следует укутала ноги. Пока она возилась, стало совсем темно, и ужинала баба Лера уже на ощупь, вынимая из стоявшей рядом корзины пригоршни кисловатых ягод. Поев, откинулась к сухой, прогретой за лето сосне и закрыла глаза. Ей не надо было звать прошлое,— все было продумано, отсеяно и выстроено. И когда перед закрытыми глазами появился первый смутный облик, Калерия Викентьевна улыбнулась и шепнула чуть слышно:

— Здравствуй, мама. Ты все еще ворчишь на меня, что я удрала с Алексеем в ту безумную ночь, когда юнкера рвались с Пречистенки? Не надо, мама, я счастлива. Я куда счастливее тебя, бедная моя мама...

— Счастье? — тотчас же откликнулся в ней молодой уверенный голос.— У тебя дамское представление о счастье, сестра. Есть только одно счастье, ради которого стоит жить и стоить умирать: счастье отечества твоего...

Калерия Викентьевна ласково улыбнулась: здравствуй, Кирилл. Здравствуй, мой вождь и наставник, мой мудрец и учитель, мой единственный брат. Ты всего на три года старше меня, но авторитет твой всегда был непререкаемым, абсолютным, божественным авторитетом. До тех пор, пока ты не привел в наш дом юнкера, с которым спал на соседних койках.

— Рекомендую тебе, сестра, моего лучшего друга. Алексей, это — Лера, о которой я говорил.

Пятнадцатилетнюю гимназистку великодушно допускали в свою мужскую компанию взрослые, пахнувшие кожей, ружейным маслом и лошадьми будущие офицеры с пока еще будущими усами. Дружба между юнкерами была воистину мужской: если один говорил «брито», другой яростно утверждал: «стрижено!» Мнением гимназистки никто, естественно, не интересовался: она приглашалась на роль аудитории. И кипела негодованием в адрес этого противного Алексея, который осмеливался спорить с Кириллом. Гневно сверкала глазами и без конца теребила косу.

— Свобода не вне человека, Алексей, свобода внутри человека. Вспомни, даже гениальный Пушкин был несвободен: обижался на камер-юнкерский мундир, умолял государя, свято соблюдал глупейшие светские традиции. Первый шаг к личной свободе совершили декабристы: один возглас «Вы свинья, Николай Павлович!» стóит иной революции. В этом гласе звучит русская душа, пробудившаяся после тысячелетнего холопства. И какие же могучие крылья обрела эта душа во Льве Толстом, воспарив не только над властью, не только над бытом, но и над церковью — вровень с самим господом богом! Вот путь истинной свободы для русского человека: от Пушкина через декабристов к взлету Льва Николаевича. Стало быть, задача в том, чтобы путем совершенствования пройти эти ипостаси...

— На какие средства? На какие шиши проходить ипостаси, Кирилл? Душа душой, а тело телом: его питать надо, одевать, согревать.

— Тупоголовый материализм!

О, как Лерочка была согласна с братом, как сердилась на этого «тупоголового материалиста»! И перед сном долго отчитывала его, вспоминая усмешку, синие глаза и упрямые губы.

— С людьми, осознавшими себя свободными, мы построим идеальное общество. Все — для отечества, все — ради отечества!

— Утопия, Кирилл. Единственное, ради чего стоит жить, это равенство. Всеобщее равенство и справедливость, исходящая из принципа всеобщего равенства.

— Да пойми, Алексей, что равенство само по себе еще ничего не определяет. Равенство может быть как в среде патрициев, так и в среде плебеев: какое из них ты имеешь в виду? Нет уж, извольте начать готовить людей для равенства, а не равенство для людей: это абстракция! Да если люди когда-нибудь при любом равенстве забудут о свободе личного «я», равенство обернется тиранией! Вторым крепостным правом, на новом витке Истории!

Этот спор запомнился особенно ярко, потому что перед сном Лера впервые не ругала Алексея. Лежала, глядя в темный потолок, слушала, как в гостиной часы отбивают четверти, и думала. Нет, она и тогда не соглашалась с Алексеем, но ей уже не хотелось сердиться, а хотелось спорить. И она сочиняла этот спор, придумывала аргументы, предугадывала его ответы и все время видела его глаза. Синие, которые среди спора вдруг могли потемнеть, стать серыми, растратить теплоту и приобрести холод. Нет, она непременно, непременно, завтра же...

Но на другой день юнкера не пришли: они пришли через неделю попрощаться перед отправкой на фронт. Алексей вдруг объявился в ноябре семнадцатого, а Кирилла она больше так и не видела, и не знала... Нет, знала, зачем лукавить? Знала: ей все рассказали, когда она вернулась в дивизию после тифа. Это Алексей так никогда и не узнал, что она знала все...

...Шел девятьсот девятнадцатый, Деникин жестоко и упорно рвался к Москве, и дивизия Алексея никак не могла выйти из боев, пополниться, вооружиться. В последней схватке повезло: потеснили противника, взяли семнадцать офицеров из ударного офицерского полка. Ввиду чрезвычайного положения на фронте пленных решено было отдать под трибунал. Судили их уже ночью, исполнение приговора отложили до утра; белых заперли в сарае, а когда все утихло, туда вошел начдив. Вошел один и остановился под горящей «летучей мышью» перед семнадцатью смертниками, уже раздетыми до белья. И тихо сказал, помолчав:

— Здравствуй, Кирилл.

Кирилл вскочил с соломы, на которой лежали шестнадцать: семнадцатый безостановочно вышагивал взад и вперед по сараю.

— Господа, позвольте рекомендовать моего друга. Вместе учились в юнкерском, что важнее, два года кормили вшей в окопах. Стало быть, ты — начальник дивизии? Поздравляю, блестящая карьера: из поручиков в красные генералы. А что же Лера?

— Лера в тифозном госпитале. Кризис, кажется, миновал.

— А ты, следовательно, целеустремленно служишь телу, а не душе? — Кирилл нервно рассмеялся.— Помню наши споры, помню. Умри, господь, ты не придумаешь ничего прекраснее и смешнее русской интеллигенции...

— Извини, Кирилл, я должен кое-что разъяснить. Надеюсь, что буду правильно понят, господа. Ревтрибунал приговорил всех к смертной казни. Это первое.

Безостановочно шагавший немолодой человек остановился перед Алексеем. Коротко кивнул:

— Полковник Щербина. Полагаю, что второго нам уже не потребуется.

— К сожалению, второе существует, полковник. Моя дивизия полмесяца не может выйти из боя. Мамонтов разгромил наши тылы, у меня осталось по три патрона на винтовку.— Алексей замолчал. Сердце стучало с непривычной частотой, он собирался с духом, и все ждали, и тишина стояла такая, что слышен был писк мышей в соломе.— Господа, вы — офицеры, и потому позволю себе надеяться, что вы оцените мое положение.

Он умолк, и снова стало слышно, как деловито снуют мыши. Им, мышам, не было дела до гражданской войны.

— И что же? Нас повесят?

— В Красной Армии нет подобной казни.

— Утопят? — усмехнулся полковник.— Живыми в землю?

— Трибунал выделил ровно семнадцать патронов. Семнадцать: по одному на каждого. Следовательно, обычной процедуры расстрела быть не может.

На мгновение замерло все: человеческое дыхание, шуршание соломы, писк мышей, сам воздух. Замерли светила на небе и вращение Земли, замерли птицы и звери, ветер и вода, замерли человеческие сердца и само время тоже замерло. И взорвалось вдруг, разом:

— Палачи! Убийцы!..

Безусый мальчик корчился на соломе, дугой выгибая юношескую спину. Рвал на груди нательную рубаху и кричал, кричал... Как он кричал...

— Звери! Звери! Звери!..

— Прекратите, прапорщик. Вы знали, на что шли, когда записывались в наш полк,— негромко сказал полковник, и юноша тотчас умолк, по-прежнему конвульсивно изгибаясь на соломе.— Придержите его, господа, он же язык прикусит.— Помолчал, усмехнулся, покрутил седой, коротко стриженной головой.— Вы не находите, что это... Это похоже на убийство, гражданин красный генерал.

— Я приказал отобрать самых...— начдив запнулся,— метких стрелков. Это единственное, что я могу для вас сделать.— Он расстегнул кобуру, достал наган, перехватив за ствол, протянул.— В барабане два патрона, больше нет ни одного во всей дивизии. Возьми, Кирилл. Второй разыграете по жребию или отдадите мальчику.

Руки Кирилла дрожали; он никак не мог унять дрожь, и поэтому заложил их за спину. Сказал надменно и как-то оскорбительно громко:

— Благодарю. Оставьте себе, чтобы было чем застрелиться, если проснется совесть.

— Стыдно! — Резко одернул полковник.— Нам вручают свою жизнь, веря, что мы — русские офицеры. Примите мою благодарность, поручик, и спрячьте оружие. Мы все умрем общей смертью,— он помолчал, глядя, как судорожно, не попадая, красный начдив заталкивает револьвер в кобуру.— Ваш порыв дает мне право обратиться с двумя просьбами. Первая касается процедуры.

— Процедуры? — машинально переспросил Алексей.

— Пожалуйста, распорядитесь, чтобы нас расстреливали по одному, а не на глазах друг у друга. Пусть берут по очереди из сарая, это ведь не очень затянет...

— Я уже распорядился об этом.

— Искренне благодарю. И второе. Вы не будете присутствовать при расстреле, поручик. Я старше вас возрастом и чином, и я приказываю вам.

— Слушаюсь, господин полковник,— звякнув шпорами, сдавленно произнес начдив.

— Мы будем петь, господа! — громко сказал полковник.— Мы будем орать во все глотки, ясно? Прощайте, поручик, и ступайте: смертники имеют право остаться наедине с собой и с богом.

Алексей низко поклонился, отдал честь и вышел. А потом сидел в полутемной хате, обхватив голову руками. Светало...

— «Сижу за решеткой в темнице сырой, вскормленный в неволе орел молодой...» — в рассветной тишине начал вдруг сильный голос, и Алексей узнал Кирилла, и закачался, скрипя зубами. А подхваченная мужскими голосами песня звенела над селом, врываясь в тесную избу начдива. А он, слушая ее, слышал, как уменьшались голоса, как слабела песня, которую орали сейчас во все офицерские глотки: «...туда, где гуляет лишь ветер да я...»

Завел один голос и смолк, оборванный выстрелом. Единственным выстрелом, который расслышал начдив в ту сумасшедшую ночь. А расслышав, сорвался с лавки, бросился к дверям, распахнул их и уткнулся в кожаную куртку комиссара.

— Не пущу,— сказал комиссар.— Не знаю, кто из нас до мировой революции доживет, но если тот, кто доживет, вот о таком позабудет, мы из могил встанем. Все встанем. И так скажем: ты что, гад, запамятовал, сколько русская кровь важит?!

— Алексей никому и никогда не рассказывал об этой ночи,— как-то призналась мне баба Лера.— Я тогда через месяц вернулась из лазарета и увидела, что мой муж в двадцать три года стал совершенно седым...

Какая восторженная романтика бушевала в ее невесомом теле. Как неистово жаждала она еще ярче, еще яростнее раскрасить алую юность свою. Может быть, все они были именно такими, но неистовость их затушили в свинцовые времена, и только Калерии Вологодовой удалось пронести ее сквозь всю жизнь, чтобы передать внукам негасимый факел Великой Революции.

— У каждого времени свой ритм,— лицо бабы Леры вдохновенно горит в пламени пионерского костра.— И очень важно не забывать эти ритмы, если хочешь не просто знать, но и понимать биографию отечества своего. Ну, все, дружно: «Белая армия, черный барон снова готовят нам царский трон...»

Баба Лера дирижирует на пионерском слете полвека спустя, гордо откинув седую голову, а правнуки — поют. В ритмах гражданской войны, что шрамами врезались в сердце... «Так пусть же Красная сжимает властно свой штык мозолистой рукой»,— вместе с пионерами поет она, но — кто знает! — может быть, в душе ее и в эти минуты — «Мы вольные птицы: пора, брат, пора!..» Может быть: гражданская война длится ровно столько, сколько живут пережившие ее поколения.

По сонному обмякшему лицу Калерии Викентьевны медленно сползали слезы. Появлялись в уголках глаз, скатывались к морщинам и уж по ним неспешно текли, пока не срывались в сухой лишайник; баба Лера спала, и слезы никого не оплакивали, а всех жалели. Всех разом и всех с одинаковой горечью, потому что в сердце ее жила только боль и ни единого зернышка зла. И, вероятно, поэтому из тумана, что густо клубился вокруг, неспешно вышел старичок и присел рядом. Баба Лера, не открывая глаз, знала, что он сидит рядом, и еще знала, что это — Бог. И спросила вдруг, от чистого сердца:

— Устал?

— Устал,— он вздохнул.— Гордыня мир обуяла. Вчера еще говорили: «Это мое, а то мое тож». А сегодня каждый мнит себя правым и кричит: «Мы — истина!», а того не понимают, что у лжи есть хозяин, а у истины — нет.

Кого-то напоминал ей этот, заросший по клочковатые брови, старик с глубоко запавшими ясными и пристальными глазами. Его взгляд предполагал глас, а не голос, но старичок говорил тихо, страдая, и сердце Калерии Викентьевны болело от его страдания.

— Трудно тебе,— сказала она.— Ты мстишь, господи, и тебе очень трудно.

— Нет,— он медленно покачал седой кудлатой головой.— Душу положи за други своя — вот и все, чего хочу я. Отдавать надо, вот и вся премудрость мира сего. Отдавать себя и богатства свои, отдавать силу свою и нежность свою, отдавать все, а чтобы отдавать все, надо любить всех, а чтобы любить всех, надо прощать всех, а чтобы прощать всех, надо выжечь гордыню в душе своей...

— Лев Николаевич?! — ахнула Калерия Викентьевна.— Лев Николаевич, это вы?

И заплакала счастливыми, радостными слезами, а заплакав — проснулась. Лицо ее было мокро то ли от слез, то ли от росы; баба Лера отерла его ладонями, но оно снова стало мокрым, и она поняла, что плачет. «Какое счастье! — светло подумала она.— Какое великое счастье, что я заблудилась... Нет, нет, что вышла. Спасибо вам, Лев Николаевич, спасибо, Бог наш, сподобилась я слышать вас, и дорогу, мне указанную, в сердце своем сохраню до мига последнего...»

Бабе Лере стало вдруг невыносимо стыдно за пафосность собственных мыслей. Она засмущалась, завздыхала, заворочалась, окончательно отгоняя не только остатки сна, но и отголоски сновидений. Небо быстро светлело, туман редел, рвался, прижимался к земле, на глазах уползая в болото. Баба Лера поднялась, подвигалась, поизгибалась, потопала по хрустящей постели своей толстыми, Анишиной вязки, чулками, разминая затекшее тело и согреваясь.

Затем умылась росой, растерлась платком докрасна и неторопливо, со вкусом позавтракала морошкой. Вытряхнула из сапог набивку — внутри было почти сухо,— обулась и легко встала на ноги вместе с солнышком. Огляделась и неожиданно для себя самой решила: «Сюда». Подняла корзину и пошла напрямик, твердо зная, что выйдет к людям.

7

— Я вынесла три истины из той ночи,— рассказывала баба Лера.— Первая, самая главная: из России невозможно выйти, и в какую бы ты сторону ни шел, она всегда будет вокруг тебя.

— Резонный парадокс. А вторая, Калерия Викентьевна, о чем будет истина?

— Вторая и третья более прагматические. Мы отвергли старую культуру во всех ее проявлениях, кроме реалистического искусства, но мы не вправе ее забывать. А это значит, что нам следует стать просвещенными атеистами, отрицающими бога, но признающими ценности рожденного религией искусства — таков второй постулат. А третий, возможно, покажется вам спорным: только истинно верующие люди способны на подвиг, и чем выше и чище их вера, тем выше и благороднее будет их подвиг. Мы заменили веру учением, но это, как мне кажется, неадекватная замена. Отсюда вывод: нам нужна новая вера. Не религия — вера.

— Ох, как я вас понимаю! — вздыхает Владислав Васильевич, как-то особо значительно поглядывая при этом на меня.

Мы сидим втроем: Анисья еще утром ушла в Красногорье за продуктами и, судя по всему, явится навеселе. А сейчас — тихий вечер, переливы красок в спокойной Двине, далекий пароходный гудок.

— «Иван Каляев» идет,— почему-то объявляю я.

— Матушка говорила, что была знакома с Каляевым.— И снова в голосе Калерии Викентьевны мне отчетливо слышится странная печаль.— Она всегда называла его только по имени, только Ваней, а познакомились они в Москве, в дни коронации, на которые гимназист Каляев тайком приехал из Нижнего. И мама была свято убеждена, что Каляев не убивал великого князя Сергея Александровича, а лишь казнил его за ходынский ужас.

— Странный парадокс истории,— каюсь, я тогда сморозил глупость.— Рядовой эсеровский боевик удостоен почета и бессмертия, тогда как его непосредственный руководитель и организатор покушения на великого князя Борис Савинков — бесчестья.

— Не окажись Савинков по ту сторону баррикад...— начинает Владислав, но тут же меняет собственное объяснение.— Право суда принадлежит победителям. Это аксиома истории.

— Это — наше объяснение, а не аксиома, Владислав Васильевич.— Баба Лера несогласно трясет головой.— А суть, как мне кажется, в том, что мы воспринимаем Ивана Каляева, прежде всего, как искренне уверовавшего и во имя этой веры идущего на смерть. А в его руководителе видим лишь пастыря, то есть человека, волей своей направляющего искреннюю, а потому и святую веру исполнителя. Людям органически свойственно поклоняться подвигам и заведомо настороженно, если не недоверчиво, относиться к тем, кто вкладывал в руки героя оружие и подталкивал его. Заметьте, люди никогда не приходят в ажиотацию по рациональным поводам: эмоции управляются только иррациональным началом. И поэтому я категорически продолжаю утверждать, что нам необходима новая вера. Необходима!

— Я понимаю,— вторично признается Владислав и вторично поглядывает на меня с особым значением.

Странное дело: мгновенно и естественно найдя общий язык с Анисьей, Владислав так и не смог побороть в себе скованности и, как мне всегда казалось, смутной виноватости в общении с бабой Лерой. Он очень редко спорил с нею, предпочитая соглашаться или молчать, а ведь имел и собственное мнение, и убежденность, и вполне достаточную эрудицию. Он и со мною-то начал

спорить не сразу, а накопив определенную сумму впечатлений обо мне и как бы перешагнув некий рубеж в наших отношениях. В частности, именно потребность веры, как естественного стремления к определенному порядку свыше, его тревожила постоянно, недаром он так выразительно поглядывал на меня: мы много раз говорили об этом.

— Понимаешь, наше поколение впрямую столкнулось с культом личности. Ну, скажем, один факт я могу еще хоть как-то объяснить — культ Сталина. Личность незаурядная, сильная, жестокая сумела оценить сложившуюся после смерти Ленина внутрипартийную обстановку: растерянность, групповщина, борьба амбиций, оппозиций и прочее. Сумела воспользоваться «капризом истории», как любит говорить наша баба Лера. Да плюс — война, в которой, заметь, резко возрастает сталинский авторитет во всех слоях, от солдата до маршала. Но это — Сталин, черный гений страны, диалектический антипод Владимира Ильича в полном соответствии с диалектикой, как основополагающим нашим учением. А остальные культы да культики? Один объяснимый да куча нелогичных — это тебе уже не случайность. Это закономерность,— хотим мы признавать ее или не хотим, но она объективно существует. Согласен?

— Ну, допустим.

— А коль допустил такое, изволь объяснить. Изволь поднатужиться, поразмышлять и вывести некий закон.

— Неутешительный это закон,— сказал я ему тогда.— Выходит, что мы чуть ли не фатально обречены на развитие через культ личности.

— Вот! — Владислав резким жестом обрубает мое неуверенное бормотание.— А почему? А потому, что народу необходима вера. Вера на этом этапе общего нашего развития важнее знаний, потому что для знаний у нас фундамент жидковат: в подавляющем большинстве мы ведь еле-еле из ликбезов вылезли и во всех взаимосвязях закон развития общества постичь пока не можем. А в бога уже не веруем — получаются ножницы, необъяснимая для народа пустота. И чтобы не задохнуться в этой пустоте, чтобы направление движения не утратить, народ инстинктивно жаждет веры в авторитет вождя, в его непогрешимость, абсолютные знания во всех решительно областях и почти что священные обобщения. Вот истоки нашей потребности в культе личности, понял? Невозможно жить ни во что не веруя при этаких-то жертвах, что понесли мы, вот народ вместо свергнутого бога и ищет его вполне материалистическую земную ипостась...

Владислав любит собственные гипотезы, с удовольствием излагает их, но при бабе Лере помалкивает. И тогда я вкратце пересказываю суть его объяснений. Естественно, от собственного имени.

— Парадоксально, но абсолютно антинаучно,— сурово изрекает Калерия Викентьевна.— Вы почему-то исключили наиболее активную силу из своих рассуждений: партию. А партия могуча коллективным разумом, и она не допустит антинаучного развития общества. Я говорила о вере. Просто о вере. О святой убежденности каждого, что прожитая нами жизнь прожита не зря, не напрасно, что в общем своем потоке она подчиняется законам нашего учения, и что, следовательно, задача в том, чтобы донести эту убежденность до масс, и в первую очередь — заразить ею молодежь.

С этого вечера, с этого неторопливого разговора, подсвеченного красками северного заката и озвученного стонущим воплем «Ивана Каляева», и началась бурная («миссионерско-пионерская», по определению Владислава) деятельность бабы Леры. До этого она не только не стремилась к детям — она сторонилась их; понадобилось качественное изменение ее взглядов на мир, Россию, историю («прозрение», как она сама определила), чтобы Калерия Викентьевна перестала замыкаться в себе самой со своими мыслями. Понадобилось заблудиться, чтобы выйти к людям, и это было еще одним превращением Калерии Викентьевны Вологодовой в простую, почти сельскую если не жительницу, то учительницу бабу Леру.

— Самой трудной была первая встреча,— вспоминала она часто.— Не потому, что «первая», поймите, а потому, что пришла я не в учреждение, не в школу — я пришла непосредственно к детям, которых по моей просьбе

собрали с помощью Владислава Васильевича. Случилось это на окраине Красногорья, а потом дети стали сами приходить ко мне, и мы жгли костры во-он на той возвышенности, что на берегу. Там теперь Аниша моя лежит, на месте тех костров...

Мы сидим на крыльце, где так любила по старой, может быть, еще детской привычке, сидеть Анисья. Это наша последняя встреча, но мы еще не знаем об этом — ни я, ни баба Лера. Не знаем, хотя уже нет ее Аниши, умершей в начале года, и нет Грешника, навеки шагнувшего за порог. С той поры баба Лера живет одна, если — со вскрытия Двины — не считать случайных гостей, регулярных, хотя и не частых, наездов Владислава да моего месячного отпуска.

— Как же она одна-то следующую зиму переживет, Владислав?

— Не будет она одна, не будет. Я ей очень милую старушку подыскал, бывшую учительницу. Сейчас старушка внучатами занята, а разъедутся внучата к сентябрю, и перевезу я ее к бабе Лере. С ней детально все обговорено, но баба Лера ничего не знает, и ты, гляди, не проговорись: я не сюрприз ей хочу сделать, я врасплох ее захватить хочу, а то ведь и закапризничать может, если мы ей время на размышления оставим.

...Ах, как волновалась баба Лера перед своим первым свиданием с детьми! Не спала ночь, читала, вставала, металась. Даже Анисья не выдержала:

— Ну чего, чего себя-то мытаришь, Леря Милентьевна? Ну дети, ну сопливые, ну, молчать будут, как клопы. Ну чего из-за них казниться-маяться, сестричка-каторга? Да пошли они...

Указала, куда именно. А потом повздыхала, покурила, поворчала про себя и неожиданно предложила:

— Вместе пойдем, вот чего я тебе скажу. Я насупротив сяду, а ты гляди только на меня и все мне рассказывай, будто и нет никого кругом.

На первой встрече народу оказалось немного: десять-двенадцать старшеклассников (одни девочки), трое учителей, два бодрых старика да парторг тогдашнего колхоза. Калерию Викентьевну никто не знал, но все слышали, что, во-первых, безвинно пострадавшая, а во-вторых, «из бывших». Однако понятие «из бывших», так настораживающее жителя собственно России, на Севере воспринимается скорее с благожелательным любопытством, потому что Север не знал ни всесилья бояр, ни дворянской вседозволенности, ни самого крепостного права. Но все это определилось потом, а тогда бабе Лере было совсем не до анализа. Однако аудитория на четыре пятых состояла из женщин, и Калерия Викентьевна неожиданно для себя самой начала совсем не так, как предполагала:

— Скажите, можно ли искренне, глубоко и преданно любить понаслышке? Можно ли клясться в любви предмету, о котором вы либо не знаете вообще, либо знаете ничтожно мало? Женщины уже улыбаются и переглядываются, и я предугадываю их ответ: конечно, нельзя. Нельзя, невозможно и неправдоподобно уверять всегда и всех, что вы безумно любите то, о чем не ведаете, о чем не думали, не страдали, не плакали тайком или не гордились прилюдно. И, однако, и вы, и все мы это делаем чуть ли не ежедневно: мы готовы в любой момент, на любой аудитории и по любому поводу признаться, как преданно мы любим свою родину...

Прошелестел недоуменный шепоток, и баба Лера передохнула. Напротив сидела верная Аниша, строго глядела в глаза и одобрительно кивала каждому слову. Калерия Викентьевна улыбнулась, весело удивившись, с чего это вдруг она решила начать свою просветительскую деятельность с любви, и почувствовала, что успокаивается, что аудитория заинтригована и послушна, что взяла она правильную ноту, и что теперь можно смело говорить все, не боясь, что тебя не поймут или превратно истолкуют. «Коли сразу приняли — все поймут»,— с юной бесшабашностью подумала она и продолжила:

— Я была гимназисткой начальных классов, когда из Тулы в Москву, где жила наша семья, после похорон Льва Николаевича Толстого приехал мой дядя Василий Иванович Олексин. Для всей нашей очень многочисленной

родни — у моей бабки было десятеро детей — Василий Иванович всегда был высшим авторитетом: в юности участвовал в народническом движении, строил в Америке коммуну по образцу Фурье. Потом служил учителем старшего сына Льва Николаевича Сергея в Ясной Поляне, подружился с графом Толстым, увлекся его учением и оказался тем человеком, который спас для истории «Евангелие» Толстого, переписав его за ночь перед тем, как Синод уничтожил оригинал. Дядя Василий Иванович очень тяжело переживал смерть своего гениального друга и учителя, почему и приехал к своей младшей сестре Наде, которую всегда любил и жалел. Он часто беседовал с нами, своими племянниками, но с Кириллом чаще, потому что брат был старше. И как-то раз так вышло, что Кирилл торжественно объявил, что очень любит свою родину. Дядя сморщился, будто разгрыз зеленый крыжовник, и сказал то, что я запомнила на всю жизнь: «Говорить о своей любви к родине все равно, что утверждать, будто вода мокрая, а молоко белое. Родине служат, родине сострадают, за родину умирают, но болтать о любви к ней может только человек глубоко равнодушный. Любовь — это действие, а не слова, а если любовь — слова, то это фальшивая любовь». Так давайте же не будем клясться в любви, давайте доказывать свою любовь делами. А чтобы принести наибольшую пользу, необходимо знать, чего ждет от вас родина, то есть, надо ее знать. Вы скажете, что знаете ее, что изучали историю и географию, и будете глубоко неправы. Во-первых, родина это не столько то, что вокруг нас, сколько то, что под нами: прошлое, судьба, история. А во-вторых, в школе вас учат не столько истории, сколько исторической хронике, то есть, последовательности событий во времени. А история — это не наука о датах. История — это биография народа. В данном случае наша с вами биография, биография русского народа...

Баба Лера вдруг поймала себя на том, что четко, реально ощутила, как раздвоилось ее внимание. Да что там внимание — раздвоилась ее душа, ее память, ее чувства, она сама раздвоилась. И если первая половина продолжала, поглядывая на согласно кивающую Анисью, ясно и логично излагать продуманное, то вторая половина, ее второе «я», с этого мгновения видела Алексея и разговаривала с ним...

— ...Помнишь семьсот четырнадцатый Бессмертный Пролетарский полк в составе ста трех человек со мной вместе? Перед отправкой на позиции — митинг: «Не желаем идти в смертельный бой за мировую революцию с криком „Ура!“, которым Россия встречала низложенного монарха!» Напрасно и ты, и комиссар, и начштаба, и даже я, важно назначенная начальником культпросветотдела, объясняли бойцам, откуда пошел этот возглас, этот боевой клич России — все требовали нового пролетарского вопля. Все орали, кричали, вопили, пока ты не разрядил в небо полбарабана своего безотказного офицерского нагана-самовзвода. «Тихо! — сказал.— Желаете новый клич? Пожалуйста, давайте предложения, но не все скопом, а по одному. Комиссар запишет в порядке поступления, а потом приступим к голосованию...» Что тут началось, Алеша, помнишь?

«Гады-ы!..»

«А-а-а!..»

«Долой капитализм!..»

«Ма-аркс!..»

«Предлагаю точно и классово: сво-лочь!..»

«Рев! Рев! Рев!..»

— Что — рев, рев? Говори толково!

— Сокращенно: «Революция», товарищи! При атаке — «Рев! Рев!..»

Дружно и страшно: «Сме-е-ерть!..»

«А по-матерному можно? Нельзя? Тогда предлагаю сокращенно: „В бога — душу! В бога — душу!..“»

— Нельзя!

— А нам нравится!

— А нам не ндравится!

«Даешь клич!.. Даешь!..»

— Стоп! — крикнул ты и снова пальнул, чтоб образумились: в начале восемнадцатого стреляли все и помногу, иначе не слушали.— Кто сказал «Даешь!»? Вы, товарищ? Молодец! Командование предлагает вместо царского «Ура!» всем дружно и яростно кричать при атаке пролетарское «Даешь!..»

Но хватит вспоминать, хватит! Вот они, родные Аннушины глаза, вот он, вольный берег и вольный ветер, а вот и те, кто должен поверить тебе на всю жизнь. Ты не раз глядела смерти в лицо, ты на спор дырявила пятаки из дареного маузера, ты «доходила», блевала кровью и желчью, ты сидела по каторжной, прошла карцер и лесоповал и ни разу не дрогнула ни перед чекистами, ни перед блатными: что же ты теперь дрожишь, дворянская дочь? Дворянская? Неправда. Российская дочь. Вперед, дочь России. Долг русского интеллигента куда звонче и требовательнее полковых труб, играющих атаку...

Как мы были молоды, Алеша. По-моему, куда моложе этих школьниц, что сидят сейчас передо мной, участвуя в мероприятии, а думая о танцах и мальчиках...

Что такое гражданская война? Война красных и белых? Имущих и неимущих? Дворян и простолюдинов? Большевиков против всех тех, кто с помощью своих и наемных штыков хотел уничтожить завоевания Октябрьской революции? Все так и все — не так, все приблизительно и неточно. Что же, забыли его вывести, этот универсальный и всеобщий, как закон, ответ? Нет, не забыли: пытались. Пытались прежде, пытаются сейчас и до тех пор будут пытаться, пока все и каждый лично не поймет, что у гражданской войны есть одна зловещая особенность: ее невозможно объяснить одной формулировкой. У нее ровно столько объяснений, сколько было участников, потому что каждый, кому выпало жить в то время, вел свою собственную гражданскую войну. И шла эта личная гражданская война прежде всего — с самим собой, потом — с семьей, потом — с друзьями и знакомыми, с теми, с кем вместе рос, учился, работал. Вот почему у каждого свое определение, и вот почему нет универсального и всеобъемлющего. И мне, например, нужно было прожить жизнь, многое испытать, многое потерять, многое найти, а главное, многое передумать, прежде чем я сформулировала для себя, что же это такое — наша гражданская война...

...Что рассказать им, Алеша? До того, как изложить свое понимание, надо, чтобы они хоть что-то если не поняли, то — почувствовали. Что же рассказать им?..

Может, переправу у Гончаровки, перед которой в аккуратно, по-фронтовому открытых окопах засели до зубов вооруженные жители с тремя пулеметами? Это сколько же положить придется, пока сомнешь и прорвешься на тот берег, это же трупами вымостить переправу, потому что у артиллеристов нет ни одного снаряда, потому что у пулеметчиков давно опустели ленты, потому что полегчали красноармейские подсумки за этот невероятно длинный марш: остатки патронов и неутомимые клинки лихих хлопцев Егора Ивановича в арьергарде сдерживают натиск сечевиков. Ах, как надо уйти за реку, но здесь — три пулемета, не считая винтовок.

— Стоять всем,— сказал Алексей.

Сорвал зачем-то лозинку при дороге и пошел прямо на пулеметы, похлопывая прутиком по запыленным голенищам.

— Стой! — закричали оттуда.— Куды? Шагнешь еще, огонь откроем!

Алексей шагнул, не задумываясь. Очередь вспорола небо над головой, даже фуражку сбило на затылок, и начдив аккуратно поправил ее. В землю ударило у самых ног, взбитая пулями пыль заволокла глаза, но Алексей не остановился. Слева ударила очередь, справа...

— Да ты что, мать твою, и взаправду смерти ищешь?

— Хороший у вас пулеметчик,— невозмутимо сказал поручик, хотя сердце его уже множество раз то обмирало, то неслось вскачь.— Беру к себе начальником пулеметной команды.

К этому времени он уже подошел вплотную к окопам, упирался ногой в бруствер и глядел на недоверчивых бородачей сверху вниз.

— А ты кто таков? Его благородие, что ли?

— Я начальник дивизии Красной Армии, и нас гонят сечевики. А у меня

в колонне — раиеные, жеищины, дети. Их всех порубят, если мы ие уйдем за реку.

— А мы ие пустим! — заорали.— На...ть нам на красных и белых, на желтых и зеленых — мы сами за себя! Мотай отсюдова со своими красными, у нас на всех патронов хватит!

— Коиечно, хватит,— согласился Алексей.— Тем более, что мы в вас стрелять ие будем: вы же ие враги. Мы пойдем без выстрела, а вы нас пулеметами класть будете, а мы все равно будем идти по трупам своих товарищей, потому что у иас — жеищины и дети.

Зашептались мужики, загомонили, заспорили. Алексей ждал, с каждой мипутой все иапряжеиисе прислушиваясь, ие сбили ли петлюровцы заслои, не загремят ли вот-вот выстрелы в тылу, ие будет ли поздно. И не окажется ли он тогда между двух огней...

— А ежели вы к нам подойдете да за шашки али за ножи? Вас, вона, дивизия, а иас — деревня.

— Даю честное слово...

— А что твое честное слово, какая ему цена? Нет, ты садись спиной к пулемету, а мы тебя к иему привяжем, и коли твои краснюки на нас замахиутся, мы в иих сквозь тебя...

— Привязывайте.

До рассвета просидел привязаиный к пулемету начдив, и в спиину ему упирался ствол со сиаряжениой леитой. Мимо шли безоружные, разутые и раздетые его полки, тащилась иа заморенных клячах артиллерия, гремя пустыми зарядными ящиками, нудно тянулись бесконечные обозы, а рядом, прижавшись, сидела онемевшая от ужаса Лера. А в самом конце колонны появился усталый Егор Иваиович, восемь раз ходивший в атаку в эту короткую ночь.

— Ты чего здесь сидишь, начдив?

— Отдыхаю,— сказал Алексей; плечи его иестерпимо иыли, накрепко перетянутые веревкой, огием горело место, в которое упиралось твердое пулеметиое рыло.— Где петлюровцы?

— Остудил малость,— комбриг самодовольно покрутил ус.— Раньше, чем часа через два, не суиутся.

— Вот я их тута и встречу! — в непонятном восторге пообещал виртуоз-пулеметчик, освобождая начдива от веревок.— Ступайте себе не спеша, кони у вас подбились, ребята...

...А может, тихую Притулиху с федотовскими плакучими ивами иад прудом и выгоном, на котором, как пеньки, торчали головы заживо закопаниых культпросветчиков? Мертвые головы с вырваииыми еще при жизни языками, чтоб «агитацию ие разводили». И три — с девичьими косами...

...Или баржу на Волге под Самарой, в которой скопом содержались плениые офицеры и заложиики, меньшевики и кадеты, мужчины и жеищины? Ее приказано было расстрелять с берега из пулемета, и комроты из дивизии Алексея вызвался добровольно. Ах, как медленно тоиула продырявленная баржа, ах, как страшно и как долго кричали люди, заглушая пулеметную дробь... Алексей прискакал, когда набитая людьми плавучая тюрьма уже ушла иа дно. Багровый от возбуждеиия и старательиости командир роты громко бахвалился в кругу столь же распаленных слушателей. Конем раздвииув круг, иачдив рваиул из иожеи клинок и, привстав на стременах, сверкнул им под углом от левого плеча вииз, как когда-то учили в юнкерском...

— Неплохой удар, Алексей,— улыбнулся командарм Тухачевский, иавестивший бывшего начдива в подвале чрезвычайки.— Мы с Варейкисом попробуем убедить в этом товарищей...

Убедили. Три месяца бывший поручик воевал рядовым, заслужив редчайшую награду — ордеи боевого Красного Знамени. Тогда простили, вериули в ту же дивизию иа ту же должность...

...А может?.. Стояли на Брянщиие, иа формировке. Ждали мобилизованных из деревень, но мобилизованные группами и в одиночку бежали в леса. Дивизия пополиялась с трудом, а время шло; так было не только у иих: мужики устали воевать, устали лить кровь и бежали в дезертиры. Свыше двух

с половиной миллионов числилось в бегах, и первоочередной задачей дня стало превращение армии дезертиров в армию бойцов. Для этого были установлены недели добровольных явок, когда прощались прошлые грехи, и счет начинался с нуля.

Но беда заключалась в том, что засевшие в лесах дезертиры и ведать не ведали об этих неделях, а при появлении посторонних тут же бросались наутек, оставив агитаторам горящие костры да кипящие чайники. Алексей выходил из себя: военно-учетные организации категорически отказали в пополнении, предлагая пополняться за счет обитателей чащоб. Обитатели эти вертелись неподалеку, но были запуганы и недоверчивы и ни на какое сближение не шли.

— Я пойду, Алеша,— сказала Лера.— Не беспокойся, пожалуйста, ничего они со мной не сделают. А я им все объясню, а ты прикажи приготовить листовки.

Он не отговаривал, не пугал, не просил быть поосторожнее: ему нужны были бойцы, а это был шанс заполучить их. Слабый шанс, может быть, один из ста, но — реальный, и начдив, пометавшись ночь, утром снабдил Леру листовками, личным письмом и спутницей — пожилой и степенной женой лекпома Христиной Амосовной.

— Дай мне браунинг,— сказал он при прощании.— Знаю, он — в карманчике юбки.

— Алеша, ты знаешь, для чего он мне...

— Если не рассчитываешь удержать словом — не ходи: парламентеру с оружием никто не верит,— жестко отрезал начдив.— Мне нужны бойцы, а не жертвенные самоубийства.— Помолчал, улыбнулся невесело: — Выполнишь задачу — лично маузером награжу. Перед строем.

Расчет был верным: дезертиры не испугались двух баб, забредших в дебри то ли за ягодами, то ли за погибелью. Но дальнейшие их действия мало походили на те предположения, которые Лера излагала сомневающемуся мужу. Их бесцеремонно обыскали, запуская руки, куда хотелось (Лера с трудом выдержала это неприкрытое лапанье), отконвоировали по тайным тропам на глухую поляну, где и организовали митинг, на котором после долгих криков, воплей, матерщины и небольшого междоусобного мордобоя выявили три «принципиальные» позиции:

— Оставить у себя и разыгрывать на ночь в очередь, поскольку всем давно бабы только во сне и снятся.

— Завалить сразу, а потом пристрелить, поскольку бабы теперь знают, где все прячутся.

— Прийти с повинной, раз есть такая возможность и письмо самого начальника, потому как мы же не бандиты какие.

Все эти формулировки вырабатывались в невероятном оре в течение добрых трех часов. Затем заросшие по брови, давно не мытые мужики заперли женщин в землянке, поставив часового с ручным пулеметом Льюиса, и принялись заочно решать их судьбу в яростной борьбе приверженцев выявленных позиций.

— Держи,— сказала тогда лекарева супруга девятнадцатилетней жене начдива, вложив ей в ладонь пилюлю.— Если и вправду завалят, разгрызи сразу же и умрешь без боли и мучений.

Под утро послышалась короткая стрельба, а вскоре два мужика принесли закопченный котелок с варевом и две деревянные ложки.

— Энти тех, которым уж и не нужно,— сказали.— А вы ешьте да спите спокойно: мы вредных постреляли и с вами теперь пойдем.

На другой день Лера привела первую партию из трехсот человек. Им организовали баню, переодели, накормили, добровольцев с листовками отправили в другие места, и через месяц начдив получил людское пополнение, а Лера — маузер перед строем.

— Вот этот случай я и рассказала при первом выступлении,— улыбнулась баба Лера. Аудитория была женской, и, конечно, поняли мои страхи. Правда,

две девочки очень возмущались: «На что вы тратили свою молодость, это же представить страшно, это же дурость какая-то».

— И что же вы ответили, Калерия Викентьевна?

— Что я ответила? Я ответила, что молодость тратят все: одни — чтобы не считаться дураками, другие — чтобы не остаться в дураках...

8

Так началась общественная деятельность Калерии Викентьевны. Она не любила этого определения, равно как и всех прочих производных от слова «общество», но суть от этого не менялась: баба Лера неудержимо тянулась к людям, молодела в их присутствии и готова была отшагать добрых пятнадцать верст, чтобы только ощутить себя нужной. Анисья весьма отрицательно относилась к этому увлечению, считала, что «народ ныне пошел куда хужее прошлогоднего», по-деревенски не доверяла словам, но любила слушать свою названую сестричку, а потому с ворчанием и кряхтеньем сопровождала ее всюду, кроме пионерских сборов и костров. Вот на них она никогда не появлялась, нехотя отпуская бабу Леру одну и с нетерпением, почти тревогой ожидая ее возвращения, а если при этом была одна, то непременно шла встречать и так точно чувствовала и время, и пространство, что встречались они всегда на полпути возле бывшей мельницы, где когда-то мельникова дочка Нюра поила холодным молоком ее Митеньку Пешнева. Давно уж и запруды нет, и мельницы, и плеса, и Митины косточки давно во прах превратились, а поди ж ты, всякий раз в жар ее кидало, когда приближалась к жалкому ручейку, журчащему на месте тихого омута, где не то что с бреднем — с неводом, бывало, мужики ходили. Память куда как прочнее чем жизнь оказалась. Куда как прочнее.

В конце августа 66-го года бабу Леру пригласили на большой прощальный костер и даже прислали за ней машину, которая, правда, сумела пробиться лишь до мельницы: дальше можно было проехать только на телеге. Там баба Лера и поджидала ее, а Анисья осталась дома, где несогласно и громко гремела всем, что могло греметь. При этом она никогда, ни единого разу не поминала о детях, на всякий случай даже избегая не очень ясного для нее слова «пионеры», зато вовсю отыгрывалась на «пионерьках», коих непочтительно именовала кобылицами, утверждая, что на таких пахать надобно, да и глаз при этом не спускать, а то того и гляди в подоле принесут. Особое недоброжелательство ее по отношению именно к старшим пионеркам нельзя было объяснить только тем, что отсутствие труда, хорошее питание да пресловутая акселерация формировали из тринадцатилетних девочек невест на выданьи; нет, здесь скорее действовало несогласие ее с физической незагруженностью этих девочек, поскольку они — по Анисьиным понятиям — обязаны были тянуть на себе семейный воз в равной доле с матерью. Именно в этом возрасте, именно в общей хозяйской упряжке будущая жена и мать воспринимала идущие от века традиции, обычаи, навыки; именно в этом звене — звене матери и дочери — заключалось вековое нравственное зерно, прораставшее затем в новой семье, чтобы и там, когда придет срок, быть переданным из рук материнских в девичьи, вновь и вновь, покуда жив род человеческий. В этой наглядной цепи — «мать — дочь» — и была, по глубокому убеждению Анисьи, заложена преемственность и бессмертие самой жизни, а современные «пионерьки» никак не могли служить передаточным звеном в будущее, ибо и делать-то ничего не делали, не умели да и не стремились, и одевались не так, и веселились не этак, и пели не то, и плясали совсем уж нелепо, и вообще Анисья давно уже не возлагала на них никаких надежд, связанных с возрождением того безмерно дорогого ей мира покоя и детства, который был и остался образцом разумного порядка. Цепь разорвалась на ее глазах, ибо она еще видела, еще застала оба разорванных ее конца, болтающихся беспомощно, бессмысленно и бесцельно.

— Нарожать-то они тебе нарожают,— сердито бормотала она, ни к кому, в сущности, никогда не адресуясь.— У девки ум снизу растет — с того места,

на котором юбка держится, и до того, в которое первым делом перстами тыкали, как в избу входили. А теперь все девки в штанах заместо юбок, персты совсем другим заняты, и куды уму расти?

Так же, как баба Лера, Владислав, да и все мы, Анисья была весьма озабочена стремительным падением традиционной народной нравственности. Но если нас беспокоило это падение во всех сферах жизни общества, то Анисью — в одном, в морально-прикладном ее аспекте, если можно так выразиться. В основе ее обеспокоенности моралью сегодняшнего дня лежало противопоставление этих половин: раньше было хорошо, теперь — плохо. Правда, лагерь, активное общение с самыми разными людьми и яростная борьба за существование не могли, естественно, пройти для нее бесследно: Анисья не просто наделяла настоящее и прошлое знаками «минус» и «плюс», а и сравнивала их, нередко вполне разумно и объективно признавая «плюсом» явления сегодняшнего дня. Но это куда чаще касалось технических новинок вроде тракторов, электричества в Красногорье или кино в клубе, нежели поведения людей в отдельности или общества в целом, то есть явлений морально-прикладного порядка.

— Бабы вставать разучились, а почему разучились, знаешь? А потому, что мужики их по утречкам не голубят, как исстари шло. Чего зубы-то скалишь? Я дело говорю! В избе, как в бараке, все рядком спали, даже если и велика изба-то. И старики тут тебе, и детки, и молодые — все вповалку, кто на полатях, кто на печи, кто на лавке, а кто и под лавкой. Ну, летом, значит, сеновал, конечно же, либо сени, либо пристроечка какая, а зимой, что думаешь, поголубиться не хотелось? Не боись, не отмораживали. А когда голубиться? С вечера ждать — терпежу не хватит: деды бессонные кряхтят, старухи любопытничают, да и девки, чего уж греха-то таить, сильно всегда прислушивались к этому, значит, моменту, по себе помню. Ну, и чего мужику с бабой собственной делать? А ничего: погладил чуток, чтоб не распыхтелась особо, и на боковую. Зато уж на зорьке — твоя, баба, воля. На зорьке все дрыхнут, бог так велит, а Матерь божья бабу подталкивает: «жмись, говорит, дура, твой часок!» И жались. Потому и вставали раным-рано, и веселые все были, огонь в глазу и работа в руках горели. А теперь места много, мужиков мало, и бабы совсем разлепились. И церкву опять же закрыли, спешить некуда, а в поле не опоздаешь: хоть ходи, хоть не ходи — все едино хрень на трудодень и хвощь на трудонощь...

Анисья и церковь поминала всегда не в религиозном, а все в том же моральном ряду. Если бы в Красногорье не закрыли церковь, она бы, возможно, и пристрастилась бы к ней, но ближняя действующая церковь оказалась для нее практически недосягаемой, а потому и вопрос с богом носил у Анисьи деловой характер: она ему жаловалась, как высшей инстанции, чтобы принял меры и прекратил безобразия.

— Луга позапускали, позакустили, позасорили, и куды ты, господи, глядишь? Раньше, бывало, сено — главное дело. Есть сено — есть скотина, а хлебушек и на мясо прикупить можно. А теперь одно разорение, косить нечего, скота нет, а ты дозволяешь. Нехорошо серчать: ну, погорячились мы насчет тебя, ну, обидели — дак ведь те, кто обижал, тех давно либо немцы, либо свои в землю уложили по твоему же, поди, пособлению, а зачем же на молодых бочку-то катить? Пора бы уж и прощать научиться, это не дело, понимаешь.

Трудно, конечно, понять, как размышляла Анисья, но, судя по всему, способ ее размышлений носил все тот же обостренно полемический характер, что и способ общения с окружающими. Она не анализировала, не пыталась обобщать, как то делала баба Лера,— она спорила сама с собой или — что чаще — с богом, поскольку все вокруг было его хозяйством, которое он запустил, обидевшись на русский народ. Поэтому она часто бормотала какие-то не совсем связные обрывки, сердито хмурилась, улыбалась или несогласно трясла остатками пегой гривы своей — это все были чисто внешние проявления происходящего в ней сложного процесса осмысления окружающего мира. Как ни странно, а мир этот, отринувший когда-то ее от себя, был для Анисьи очень дорог и важен; она не обижалась на него, не припоминала ему обид —

все это она взвалила на бога и тем самым спасла свою душу от злобы и ненависти, а себе оставила беспокойство за людей, живой отклик и почти материнскую ответственность за все, бессознательно и в этом повторяя свою дорогую «сестричку-каторгу».

В тот вечер, когда баба Лера ораторствовала на прощальном пионерском костре, Анисья очень серьезно рассорилась с богом. Пошла встречать к бывшей мельнице свою Лерю Милентьевну и спорила всю дорогу, порой останавливаясь и втолковывая этому сильно поглупевшему старичку всю несуразность его прежних обид и идущего от них недогляда. В основе этой дорожной филиппики лежало недавнее посещение Владислава Васильевича. И, может быть, даже не сам разговор, возникший при этом, сколько вывод, который секретарь — кажется, в то время Владислава уже утвердили третьим — наконец-таки, набравшись смелости, изложил Калерии Викентьевне.

— Да, историческая закономерпость исчезновения деревни как общины, «мира», а крестьянства как класса мелких производителей, обусловлена непреложностью законов общественного развития,— он выпалил это, как цитату, и примолк. Потом добавил уже потише: — А знаете, именно у нас, в нашей стране, без деревни обойтись никак нельзя. Невозможно нам обойтись без деревни.

— В этой категоричности я слышу отзвук чего-то знакомо эсеровского,— улыбнулась баба Лера.

— Вот уж чего не знаю, того не знаю,— с неудовольствием проворчал Владислав.— Нас воспитывают, как девиц в благородных институтах: умело, а чаще — неумело обходя высказывания всяких там эсеров, меньшевиков, троцкистов, и поэтому мы, бывает, ляпаем то по-бухарински, то по-спиридоновски, а поскольку боимся оговорок, то и до сей поры шпарим цитаты вековой давности. Так-то оно безопаснее, знаете.

— Позволю не согласиться с вами,— негромко перебила баба Лера.— Дело, мне кажется, не столько в нашей духовной стерильности, сколько в забвении нами диалектики. Признавая ее на словах и в частностях скорее суетно, чем убедительно, мы тихо и незаметно изжили ее в жизни и в общих вопросах. Сначала мы обрубили Гегеля, молчаливо не упоминая о диалектическом законе развития через отрицание: оно показалось нам тактически опасным, что ли. Дальше — больше: мы повторили то же с законом борьбы противоположностей, поскольку лишили свое собственное развитие борьбы идей. А свободная борьба идей не просто выявляет наиболее жизнеспособную из всех столкнувшихся истин — она дает возможность идеям взаимпо оплодотворять друг друга и тем самым оставаться живыми. Неоплодотворенная идея умирает, не принося плодов, как и все неоплодотворенное, почему мы вместо современных, сегодняшних аргументов зачастую пользуемся их вчерашними аналогами. Цитата — это ведь мумифицированная идея, Владислав Васильевич.

— Вполне согласен, однако позвольте все же вернуться к деревне, уважаемая Калерия Викентьевна. Вы сами меня спорить учите, ругаете, когда бесспорно поддакиваю, так уж, как говорится, не обижайтесь. Ну так вот. Вы — горожанка, и хоть помотало вас по жизни не дай бог как, все-таки основу из-под вас не вышибло. А основа та — город, его психология, окружающая среда. А я — местный, я в этих краях голопузиком бегал, о порог лоб расшибал, лес до кровавых мозолей рубил и не из одних книжек да лекций представление себе составил.

— Любопытно,— поощрительно улыбнулась баба Лера.

Так начался этот спор — едва ли не первое столкновение Владислава с Калерией Викентьевной. Она и вправду сотворила с ним нечто подобное духовному возрождению: разрушила стереотипы, по которым живут районные руководители. Для них ведь в основном пишутся инструкции и спускаются приказы, что давно уже превратило их в исполнителей воли свыше, в надсмотрщиков, добывал да пробивал. А баба Лера сумела оживить задремавшую было натуру, отвадить ее от бездумного цитирования, приучить к книгам, к размышлениям и сомнениям, к собственным мыслям, наконец. И сейчас, слушая горячащегося собеседника, испытывала огромную радость: она разду-

ла искру еще в одной тлеющей душе. А Владислав упоенно излагал ей свою, личную, продуманную гипотезу...

...Среди множества функций, которые деревня выполняет — продовольственные поставки, рабочая сила, прирост населения и тому подобное,— существенной является еще одна святая ее обязанность. Россия — собственно сама Великороссия и север ее в особенности — обосновывалась на землях, отвоеванных у леса только деревней, одной деревней и именно деревней. Она, деревня, отважно шагала в дебри, ценой напряжения всех сил заставляя отступать их и превращая в культурные земли. Мы — захватчики, оккупанты территории, издревле принадлежащей лесу, и пограничную службу по-прежнему несет все та же деревня. На юге нашей страны, в Европе, на основной пахотной земле Северной Америки и Канады лес давно побежден: у нас он лишь отступил, ушел в себя, затаился, и тысячи лет ведет с нами изнурительную партизанскую войну. А что же получается сейчас, когда мы вынуждены стягивать далеко разбросанные деревни да деревушки в села, поселки, агрокомплексы, исходя из реальности, из удобства снабжения энергией, связи, транспорта и тому подобного? А то, что в тех местах, где мы отступаем, ликвидируя деревни, наступает лес. Угодья — сначала луга, поляны, выгоны, затем поля, неудоби, клины и тому подобное — начинают зарастать: лес неумолимо берет свое. Не надо забывать, что мы привычно забываем: тайга была везде. Это мы, деревня, тысячелетним нечеловеческим трудом превратили ее в лес, но этот зверь немедленно дичает, когда уходит человек, и в конечном итоге вновь превращается в тайгу. И только деревня, ее пот, ее упорство и вековой навык способны сдержать этот таежный напор: уберите деревню — потеряете уже отвоеванное, покоренное, служащее людям. Мы не Франция, не Германия: мы — Индия, Бразилия, Конго, на нас лес наступает, как и тысячи лет назад. И деревню мы сдаем не цивилизации, не грядущему — мы сдаем ее тайге, дорогая моя горожанка. Вот в чем еще одна проблема именно нашего сельского хозяйства: техническая революция требует концентрации сил и населения, а древний враг русского мужика — лес — диктует прямо противоположное...

Конечно, это было сказано не совсем так. Это был диалог, спор, Калерия Викентьевна отстаивала свою точку зрения, но в памяти Анисьи осталось только сказанное Владиславом. То ли потому, что аргументация его была ей понятнее, то ли потому, что сам Владислав был деревенским, а значит, неосознанно, изначально своим куда в большей степени, чем боготворимая, но и недоступно непонятная, как божество, баба Лера — как бы там ни было, а доводы сестрички-каторги потерпели полное фиаско, и Анисья сердито выговаривала господу, опираясь на понятные ей, но вывернутые наизнанку личными соображениями мысли Владислава Васильевича.

— Думаешь, ты в городе когда жил? — обращалась она к своему привычному оппоненту чаще про себя, но порой и вслух.— Нужен ты им, очень даже! Ты там по церквам прятался, понятно? А в деревне в каждой избе проживал, а в церкву только к службе ходил, как все равно что поп. Ты в хозяйстве тут нужен был, пособлял, сколько мог, а не пособлял, так плакались тебе, мысли тайные шептали, просили, чего уж очень хотелось — жениха, корову или смерти ко времени. И другим ты у нас тут был, совсем не то, что в городе: там вроде начальника, а у нас вроде как родич, вроде свой, кровный даже, только жил давно, смерть за нас, за мир наш вот этот, деревенский, принял и на небо тебя за это забрали. И ты глядишь сверху, всех знаешь и обо всем тебе ведомо: вон Антип Самсоныч соли тайком припас да и не говорит никому, ждет, покуда цена подымется; вон Санька Извеков обратно от вдовой Верки на зорьке выскочил, и сапоги в руке; вон бабка Акулина чужого петуха черной водой окатывает, чтоб ее кур топтал, а не своих собственных. Все ты у нас знал, обо всем ведал, а в городе — ну, что тебе в городе, что тебе за житье было? Ничего ты про них не знал, и знать не мог, потому как в запертой церкви тебя держали, будто фраера, а потом и навовсе сбросили. Думаешь, это деревня-дура тебя вредным объявила? Ой, старик, ну чего ты, чего мелешь-то? Город тебя опиумом объявил, город! А ты с обиды все перепутал и нас наказал. Нас, деревню то есть. Народ загубил, хозяйство, скотину под корень повывел,

а теперь вон, слыхала я, лес на нас напущаешь. Да знаю я про лес, знаю, не пугай очень-то. Двадцать семь зим не была, а приехала, и, здрасьте, лес на дворе. В красном углу лопух вырос—это зачем так-то, а? Мало, что семью всю начисто вывел, мало, что меня сквозь каторгу проволок,—хочешь, чтоб и само место, где свет увидела, лесом заросло? Да неужто за то злобишься, что из города тебя поперли да церкви твои позакрывали? Так на город и злобствуй, а на нас-то за что? А-а, молчишь. Либо уж и сам забыл, за что, либо и не знал никогда. Что тебе русский мужик, на мозоль, что ли, наступил? Чего лютуешь, старый, опомнись!..

Так она очень сердито спорила с богом, неторопливо — времени хватало, вечера и в августе еще с полдня длиной — направляясь к старой мельнице заросшей дорогой, по которой когда-то с громом неслись молодецкие пролетки, солидно покачивалась коляска исправника, не спеша и безостановочно шли обозы. После того как разрушили плотину, по этой дороге уже никто не ездил, а новую, автомобильную, проложили дальше от берега, сюда отводки так и не пустили, да и делать-то ее, отводку, не для чего было, потому что жили здесь в ту пору три семьи, да и не жили, собственно, а доживали, и остатки одной из них Анисья еще застала в лице так рано состарившейся Палашки, что продала ее родимого брата за бидон керосина. Да, не ездили тут, да и ходили редко, и эта частично мощенная крупным булыжником дорога так заросла травой по пояс и кустами выше головы, что и лошадь с телегой уже с трудом прорывались по ней. Вот он, лес атакующий, вот извечный враг русского мужика, выпущенный на волю, как бандит из лагеря: Анисья видела, чувствовала, ощущала подкоркой опасения Владислава, а потому и выговаривала господу сурово и справедливо:

— Не любишь ты русских, старый, нет, не любишь. Слепоту на них нагнал, мор, глад и лес в придачу.

Прежде заросли обрывались задолго до мельницы — шли поля да луга с огородами,— а теперь подкатились к самому ручью, осинником приукрасив унылые развалины. И поэтому Анисья заметила человека, сидевшего на черных, как прах, остатках мельничных пристроек, внезапно и близко. Остановилась — он спиной к ней сидел, не видел,— задохнулась вдруг, будто бежала, и руки к сердцу поднесла: показалось, что чудо, что Митя сидит, ее Митя, Митенька, единственный ее. Но — опомнилась, опустила руки и окликнула:

— Здравствуй, добрый человек. Кто будешь такой?

Сидящий неспешно оборотился, и Анисья увидела длинное, худое, заросшее тощей бородой лицо с такими пустыми, такими не от мира сего глазами, что даже вздрогнула, подумав: убийца. Но тут же забыла об этом, поскольку весь облик незнакомца — высокий костистый лоб, длинные залысины, седина, усталые рабочие руки — отрицал эту догадку. Но все же нахмурилась и вопрос повторила строго:

— Ты кто таков будешь, спрашиваю тебя?

— Грешник,— негромко ответил он, помолчав.

9

Сутулый, нескладный мужик, коротко признавшись, кто он есть, без аппетита и даже как-то угрюмо жевал ржавый венгерский шпиг с черствым хлебом, а пустые глаза его, раз глянув на Анисью и увидев ее, продолжали глядеть, но уже в себя, уже ничего не видели и не желали видеть.

Анисья через многое перешла, многого насмотрелась, перебрала людей, перещупала, перечувствовала, а потому и понимала. Сразу понимала, и поддерживать разговор ей было просто, потому что она точно определяла, по какому параграфу проходит ее собеседник и на какую статью потянул бы, вернись опять то волчье время. А тут чуть ли не впервые не могла ничего определить, разобраться и очень расстроилась. Села рядом, сказала сердито:

— Сало жрешь, а у нас в сельпо его уже лет пять как нету.

Отрезал шмат сала, разломил пополам хлебушек и протянул Анисье. Она степенно склонила голову, приняв, и стала неторопливо, с крестьянской исто-

востью, есть, посасывая перченый шпиг и глодая хлеб уцелевшими резцами. Так они сидели и жевали, а когда по Анисиному разумению настала приличная для вопросов минута, она спросила:

— Грешник, говоришь? Пришил, что ли, кого?

Незнакомец усмехнулся. Спустился к ручью, вымыл руки и бороду, напился из горсти. Потом вернулся, поглядел на нее глазами не от мира сего, и признался:

— Я царицу видел. Лежит в гробу во всем уборе, а самой, ну, лет пятнадцать, может.

Многое Анисье приходилось слышать: и ругани, и угроз, и просьб, и приказаний, и исповедей как на духу. Ей давно было известно, что никто ее ничем не удивит, кроме разве сестрички-каторги, но тут она настолько оказалась выбитой из привычного, что рука с хлебом замерла на полпути ко рту.

— В кино?

— В гробу,— резко поправил Грешник.— Вырыли мы могилу, а гроб — целехонький, из свинца. Ну вытащили, крышку срубили, а она лежит там, как в постели. И губы красные. Я сам видел, тетка, своими глазами видел.

— Ты что, из седьмого барака, что ли?

Улыбающаяся в гробу царица подействовала на Анисью столь ошеломляюще, что время у нее спуталось, и она вдруг решила, что сидит себе на перекуре с полудурком, каких держали в седьмом бараке, как безопасных; конвоя рядом нет, а полудурок вместо того, чтобы использовать эту радость и залезть бабе под юбку, травит насчет цариц и смотрит бессмысленно: ну и откуда он может взяться? Только из седьмого барака, больше неоткуда. Но в ответ на ее резонный вопрос мужик глянул равнодушно, и глаза его опять заволокло.

— Ты погоди, погоди,— заинтригованная Анисья тронула его за руку.— Ты дело говори, а не крути вола. Какой гроб, какая могила, и что за царица? Может, привиделось тебе? Принял лишнего, и было тебе видение. Мне тоже раз было — ну, сдохнуть можно! Будто, значит, лежу это я...

— Я правду сказал,— угрюмо перебил неизвестный.

— Побожись!

— Грешник я, тетка. Какая тебе божба.

— Ну, скажи: век свободы не видать.

— А ее и так не видать, чего зря-то говорить. Мне шестнадцать было, записался я в комсомол, и послали нас раскапывать кладбище в Кремле, где Чудов монастырь.

— Зачем раскапывать-то?

— А чтоб добро не пропадало. Ликвидировали его, это кладбище, ну и вырывали, что от мертвяков осталось.

— Кости, что ли?

— Хрена им кости. Кресты серебряные, цепки золотые, перстни, бусы да сережки — вот что мы с древних костей срывали, поняла? Прах один уж, и ты в том прахе копаешься, будто самого в червя превратили. Нашарил чего в человеке бывшем, в страстях его, болях, горях и радостях — вынь да положь. И выходит — ценность не человек, ценность — на человеке, вот чему нас не уча учили. Поняла, тетка, чему нас выучили-то? Пользе. От сережки есть польза — ей честь и место; от седой бороды, что триста лет в земле лежит, нет пользы — ну и на свалку ее. Подхвати лопатой и швырни в ящик, а если череп с лопаты скатился — ногой поддай, как футбол, и хрен с ним, с предком твоим. Пожил, и будя, и хорошо, и ладно: теперь в удобрения для всеобщей пользы, а вот крест с тебя, мертвец, все-таки сымем и на серебро проверим для пользы дела. Все — только для пользы дела, только для пользы, тетка, вот какую веру нам преподали...

Любопытно, что когда он говорил именно эти слова — баба Лера позднее случайно сопоставила во времени и удивилась — Калерия Викентьевна горячо и убежденно, с полной верой, как только и выступали во дни ее юности, иначе — пулю в лоб или штык в межреберье — рассказывала старшим пионерам, вожатым, воспитателям и гостям о прошлом их собственной страны.

О том прошлом, которое являлось таковым только для слушателей, а для нее, для Калерии Викентьевны, было вечным настоящим и единственным настоящим.

— Нет, история — не звуки отдельных инструментов, даже если в данное мгновение вам слышится труба, зовущая в бой, фортепьяно, на котором исполняют ваш первый вальс, или барабан, сопровождающий на расстрел. Не разрозненные мелодии и не рваные ритмы есть голос истории. И даже не симфония. Голос истории это и симфония, и ритмы, и сольные партии, и диссонансные мотивы одиночек. История — это грозная какофония, беспощадно разрушающая любую заранее сочиненную музыку...

Калерия Викентьевна выступала, всегда жадно вглядываясь в лица. Не во все скопом и не в одно-два, а поочередно переводила взгляд, задерживаясь на каждом новом слушателе, стараясь одновременно понять его, не сбиться самой, удержать аудиторию в целом — и упаси бог! — не повториться, не потерять напористого («кавалерийского», как она называла его про себя) ритма и не утратить основной мысли. И чаще всего встречала пустые, дисциплинированные и бездумно глядящие на нее глаза.

— Да не слушают они вас,— с досадой сказал Владислав Васильевич, когда она, не выдержав, сокрушенно поведала ему об этом открытии.— Не слушают и даже не слышат. Отучили мы их от истории, отвадили. Теперь для них она — мертвая наука. Вроде латыни или древнегреческого.

— Вы только подтверждаете мою мысль, что ныне опять возникла насущная необходимость идти в народ, как сто лет назад. Надо развивать детей. Информации у них вроде бы хватает, но знаний нет, да и развитие, увы, застыло на нуле. Полузнайство это ведь, по сути, и есть знание без развития, без понимания, а основное свойство полузнайства — самоуверенность. И чтобы пробить эту броню, надо говорить, говорить и говорить.

— О чем, Калерия Викентьевна?

— О чем? Хотя бы о том, что польза, полученная ими от образования, не абсолютна. Польза вообще никогда не может служить абсолютом, ибо это — всегда частность, сиюминутный результат, арифметика, которой так часто пытаются подменить высшую математику человеческого развития, именуемую диалектикой.

— А глазки-то у слушателей — холодные.

— Зажгу!

И опять жарко горел костер, потоки воздуха высоко вздымали искры. И, встречая то пустые, то отрешенные, то заслоненные чем-то своим, личным глаза, баба Лера упрямо продолжала собственный путь в народ.

— Диалектика в истории не применима столь прямолинейно и событийно, как бы нам этого ни хотелось. Ведь диалектика подразумевает разложение на про и контра, на действие и противодействие, на отрицание отрицания и тому подобное, то есть она слишком логична для живой истории. Да, в конечном счете история выстраивается по законам диалектики, накопив для этого достаточное количество фактов, и... и перестает быть живой. И необходимо не просто знать — необходимо понять, постичь этот парадокс. Для того чтобы почувствовать живую правду вместо мертвых догм, надо научиться слышать какофонию времени, а не одни лишь марши и оратории...

Нет, не слушали ее: дети — скромно и откровенно, взрослые — изо всех сил делая вид, что слушают внимательно, словно боясь пропустить...

...А вот Анисья слушала жадно, искренне, а порою и несогласно. Но собеседник ее, назвавшийся Грешником, замолчал надолго, старательно набивая табаком огромную кривую трубку.

— Дерьмовый табак пошел, тетка. Трава травой. Помнишь, в войну такой табачишко филичевым звали? Вот он и есть филичевый.

— В войну я лес валила, а не табак курила. Ты про царицу говори, что мне война твоя.

Неизвестный раскурил трубку, затянулся, долго кашлял, отплевываясь. Потом прохрипел натужно:

— Снится.

— Ай ты! — всплеснула руками она.— Царевна?

— Там ученый был, успел поглядеть на нее. Говорил, мол, самая настоящая царица Ивана Грозного, что от страху под венцом померла. Марфой, помню, звали, а фамилия... забыл...

— Успел глянуть, говоришь? — затаив дыхание, спросила Анисья.— Как это — успел? Вознеслась она, что ли?

— Рассыпалась. Как гроб вскрыли, так прямо на глазах сереть стала, во прах превращаться. Вот это, тетка, и снится: как красота человеческая во прах обращается.

— Рассыпалась...— с бабьей пронзительной скорбью тихо вздохнула Анисья.— Ах ты, господи, ах ты, жаль-то какая.

— Во прах,— строго повторил Грешник и тоже вздохнул.— Всякая плоть, всякая там материя во прах обращается. И красота человечья, тоже, выходит, обращается. А что не обращалось, неужто все кругом временное да тленное? Как мыслишь, тетка?

Анисья не ответила. Ей и самой привиделся вдруг огромный тяжелый гроб, в котором — розовощекая и яркогубая, тугая и горячая, готовая любить и рожать, рожать и любить — лежала она сама в свои шестнадцать нарядных лет. А рядом еще стояли гробы, и еще, и еще, и бессчетно, и в каждый сама собой укладывалась такая же, как и она, девчоночка. А потом они все стали сереть и стареть, обращаясь во прах земной, в тлен, в ничто.

— Было, значит, тебе видение про всех нас,— убежденно сказала она, когда ее собственное видение растворилось в потревоженной памяти.— Про всю нашу жизнь тебе господь кино показал.

— Да не видение! — заорал хмурый мужик, сплюнув и выругавшись от души.— В том-то и дело, все, дура тетка, что истина это, факт, а не блажь моя и не сон! Правда, она страшнее любого, там, видения, дура ты чертова, тетка. Я же не полоумный какой,— он сердито попыхтел трубкой и пояснил, успокоившись: — А что снится мне она, то, конечно, мираж всякий, если по-научному объяснить — метафизика. А если не по-научному, а как в старину полагали, то так я это объясняю — совесть во мне проснулась. Значит, она все-таки есть, не метафизика, значит. А коли она есть, то и душа есть, и мне мои мучения за то, что я чужие души вот этими руками тревожил, хотя и не по своей воле. Потому и говорю, что — Грешник.

Анисья слушала, кивая каждому слову. Потом помолчала, сочувственно пожевав сухими губами, и спросила строго:

— К попу ходил?

— А на хрена мне к попу? — вновь начал раздражаться мужик.— Где они были, попы эти, когда мы, комса, шарага сопливая, в прахе народном копались, могилы грабили, церкви взрывали прилюдно да еще и с хохотом? В штаны они наклали со страху, а кто не наклал, того — на Соловки: слыхала про такое место? И потому нет у нас никакой церкви, а есть проститутки в рясах да с крестами в руках, и я им ни на грош не верю. Кто раз предал, тот и сто раз предаст, это уж точно, это — закон железный.

— Может, скажешь еще, что и бога нет? — с нескрытой угрозой спросила Анисья.

Обиделась она за попов, потому что помнила их не по церквам, а по лагерям, где под этим названием объединяли разношерстную массу верующих, лишенных свободы именно за приверженность совести своей, за отказ от отступничества и за готовность терпеть во имя того, во что они веровали. Это были служители церкви и прихожане, толстовцы и старообрядцы, сектанты и монахи, вытащенные из затворов длинной рукой беззакония. Всех их одинаково насмешливо звали попами, за что-то особенно не любили, гоняли на самые тяжелые работы и ущемляли в чем только могли. А они все сносили с терпением и смирением, и Анисья вскоре зауважала их очень за ту твердость духа, которой так не хватало многим. И вдруг этот мужик с царицей и заграничным салом...

— Если бог — совесть, то он есть,— негромко сказал Грешник.— Если бог — справедливость, то он должен быть. А если он в церквах окопался, тогда

не надо. Вот каков мой ответ будет насчет бога, тетка. А если про меня лично просишь, то в том моя беда, что я ни во что больше не верю. Верил, было дело, сперва я даже сильно верил, потом, правда, послабже, а теперь — все. Истратился. Теперь нету во мне веры ни на грамм, и даже если совесть меня бередит, если грешен я и грех свой сознаю, то все равно облегчения мне не будет, потому что веры во мне нет. Пустой я, как гнилой пень, вот ведь что из меня сделали. Пустую гниль и слизь вложили вместо твердой веры, и душа моя черна, как сажа, а должна бы сверкать, как алмаз.

Из всего, что с горячностью выложил ей незнакомец, Анисья поняла только, что ему тяжко, что нет у него ни места на земле, ни тепла в сердце, что бежит он от себя самого и что бежать ему, пока не упадет замертво. И такие встречались ей, и таких она понимала, а, понимая, жалела очень, потому, что концы были им, людям тем, которые от самих себя, хрипя кровью, уйти пытались, одинаковые. В круг они себя загоняли. Круг, из которого выхода не было и быть не могло, и мчались они по кругу этому, покуда замертво не грохались под ноги поспеющим. Да, один у них конец был, один, другого и быть не могло. И Анисья сказала строго:

— Хватить бегать-то, будя, набегался. Тут теперь жить будешь, в моем селе Демове.

Вечер тот закончился неожиданностью не только для Анисьи, но и для бабы Леры. Уж догорел костер, с облегчением и радостью зажженный после ее выступления, когда к председателю в ошалелом задыхе прибежал старый, а запуганный еще с молоду, дед, сторожививший закрытую церковь, где хранились теперь остатки фуражного зерна.

— В церковь четверо залезть пытались,— сказал председатель.— Заедем по дороге, одного механизаторы мои перехватили.

Неизвестные взломали заколоченное окно, однако унести награбленное удалось не всем. А лезли они, естественно, не за зернофуражом, а за иконами, сваленными на чердаке, потому что ни одна организация этими иконами не интересовалась, и председатель давно прекратил всякие попытки избавиться от них.

Все это председатель рассказал бабе Лере по дороге к церкви. Отправив перепуганного сторожа за гвоздями и досками, молча пропустил свою спутницу в тесную сторожку. Там под хмурой охраной троих парней на колченогом табурете сидел молодой человек явно городского типа. У ног его лежал мешок с вещественными доказательствами преступления, но грабитель держался спокойно, и только в том, как беспрестанно облизывал разбитые губы, чувствовалось внутреннее напряжение. Он мельком глянул на председателя, но на Калерии Викентьевне задержал взгляд, и, вероятно, поэтому она попросила:

— Можно мне с ним поговорить?

— Если желаете,— сказал председатель.— Все равно милиция раньше утра не приедет.

Он выпроводил механизаторов, вышел следом и деликатно прикрыл за собою дверь. Баба Лера села на топчан, покрытый старой овчиной, продолжая молча изучать задержанного. Любитель икон, неожиданно по-детски шмыгнул носом, вновь облизал губы и уставился в пол. На вид ему было не более двадцати, но Калерия Викентьевна понимала, что на самом деле он старше.

— Вас ударили?

— Что? Нет,— он осторожно коснулся губ грязными пальцами.— Просто упал неудачно.

— Вы художник? Любитель старины? Или, может быть, вы неистово религиозны?

— Что? Нет. Ни то, ни другое.

— Тогда что же вас побудило заниматься святотатством?

— Как вы сказали?

— Святотатство — значит осквернение святынь.

— А разве они есть? Святыни, которые можно осквернить?

Вопрос был задан спокойным, в сущности, равнодушным тоном: спрашива-

ющий не интересовался ответом, а констатировал факт. В тоне не содержалось ни бравады, ни позы, ни выпада: все это так не сочеталось с юным обликом преступника, что баба Лера спросила с некоторой растерянностью, неожиданно для себя перейдя на «ты».

— А что, по-твоему, тогда есть? Ведь если нет ничего святого, то что же все-таки есть? Пустое место?

— Скажите, а если бы я портрет Карла Маркса из вашего красного уголка увел, это тоже считалось бы святотатством? — усмехнулся задержанный.— Или у вас в запасе есть еще столь же содержательное определение?

— Из Москвы? — баба Лера спросила скорее для того, чтобы выиграть время: ей требовалось сообразить, как ответить на выпад.

— Милиция разберется, куда доставить,— он помолчал и добавил, словно пытаясь смягчить собственную резкость: — Нет, я не москвич. Но ведь и вы не местная.

— Да, я не местная,— машинально подтвердила она.

— Отдыхаете на лоне?

— Отдыхаю,— она решительно тряхнула седой, всегда с подчеркнутой аккуратностью причесанной головой.— Воровство — безусловная мерзость, что, я полагаю, ты и без меня знаешь. А вот знаешь ли ты, что обворовывание прошлого — мародерство, не уверена. Не уверена, что тебя страшит что-либо, кроме уголовного наказания, но неужели в душе твоей не шевельнулась совесть, когда ты запихивал иконы в мешок? Иконы, в которые с великой верой и с еще более великой надеждой вглядывались целые поколения наших с тобою предков?

— А у вас не шевелилась совесть, когда вы с пеньем под гармошку выламывали эти иконы из иконостасов и сваливали их как попало на чердак да в подвалах?

— Господи, да тебя же тогда и на свете-то не было! — вздохнула баба Лера.— Что ты можешь знать о...

— Все! — резко перебил он, подавшись вперед.— Это вы думаете, что мы ничего не знаем и знать не хотим, а мы знаем все. Завтра я в милиции плакаться стану, что единственно лишь любовь к запрятанной и гибнущей красоте двигала мною, когда я в церковь лез. Но вы мне представляетесь неглупой старухой, а потому поговорим, как говорится, без протоколов. Не знаю, откуда во мне сейчас этакая исповедальная чесотка, может, пожалею о ней, но хочется хоть одному своему предку задать единственный вопрос: вы отдаете себе отчет, что вы наделали? Что, разрушив систему устаревшую, вы из ее же ржавых деталей начали кое-как собирать систему новую, но впопыхах забыли про вечный двигатель духовного прогресса — про нравственность? И что в результате получили?

— Тебе не кажется, что ты смешал в кучу все подряд? Ведь мы не косметический ремонт державе Российской делали, а строили абсолютно новое государство, не имея ни опыта, ни сил, ни средств, ни аналогов в мировой истории. Да, мы натворили множество ошибок, даже преступлений, но в целом-то, в целом нам же удалось чудо! Нам удалось заложить фундамент небывалого завтрашнего дня. Небывалого!

— Эт-точно,— усмехнулся молодой человек.— Уж чего-чего, а небывалого у нас навалом,— он вдруг опять резко подался вперед.— Фундамент, говорите? Чудо, говорите? Спас на крови ваше чудо. Вот вы спросили, откуда я, так я — из Ленинграда, из колыбели революции, как любит выражаться наша пресса. Мой отец, чудом успев нас с мамой в эвакуацию отправить, всю блокаду в Ленинграде по двадцать четыре часа работал, из кабинета не уходя. А в пятьдесят первом его к стенке прислонили. А потом мне — мама от горя умерла — мне в пятьдесят седьмом писульку прислали: извиняемся, дескать, неувязочка вышла, не того хлопнули. Святотатство, говорите? Что посеешь, то и пожнешь, вот вам и все святотатство. Поколения, предки!.. Чушь собачья, нет у меня никаких предков нашими совместными ошибками. Нету, все корни обрублены. И для меня эта вчерашняя святость,— он ткнул ногой в мешок,— товар. Товар для заскучавшего нашего мещанина во дворянстве. Вот так-то, бабуня. Учительница первая моя.

— Обиделся, значит? — Калерия Викентьевна сочувственно покивала.— Понимаю, понимаю, встречала и таких. Только ведь обида — реакция слабых, ибо утешительна она и сладковата при всей горечи своей.

— Меня устраивает,— сказал он.— И все. И до свидания: мне выспаться надо, а то знаем мы эти ваши допросы.

— Что ты знаешь?..— горько вздохнула баба Лера.

Она вышла на крыльцо, где курил председатель. Темнело, с окраины Красногорья доносилась музыка из приемника, включенного на полную мощность, да рядом, у церкви, слышался стук молотков: парни заколачивали выломанное окно.

— Поговорили?

— Как вы сказали? — она точно очнулась.— Знаете, просьба к вам. Огромная.

— Уж коли в силах.

— Отпустите вы этого парня на все четыре стороны. Пожалуйста.

— С иконами, что ли? — опешил председатель.

— Нет, без икон. Иконы мне отдайте. На память.

— Как скажете, Калерия Викентьевна,— растерянно протянул председатель.— Как скажете.

Конфисковав награбленное, он и вправду тут же отпустил ленинградца («Чтоб духу твоего...»).

Молодой человек молча растворился в сумерках, иконы сложили в телегу, баба Лера и председатель шли позади, лошадь тащилась по бывшей дороге, и прибыли они к бывшей запруде в темноте, когда Анисья уже начала пугаться, не случилось ли чего.

— Ну, слава те,— ворчливо сказала она.— А я тут жильца нам подобрала, слышь, курский? Хватит ему по свету шляться.

— Документы прошу,— строго сказал председатель.

Грешник молча протянул потрепанный паспорт, председатель зажег фонарь и стал разглядывать то паспорт, то владельца, а Анисья заметила с неудовольствием:

— Ну, не беглый, не беглый, нутром чую.

— Гражданин Трофименков? — спросил председатель, ничего не ответив Анисье.

— Трохименков я, понятно? — с плохо скрытым раздражением сказал неизвестный.— Трохименков. Хер, а не фук.

— Куда идете, Трохименков?

— На край земли.

— Ишь ты. А там чего, на краю?

— А на краю я погляжу. Ежели обрыв — вниз брошусь, ежели стена — башку расшибу.

— Сердитый ты мужик,— усмехнулся председатель, возвращая паспорт.— Ладно, живи в Демове, живи, если Калерия Викентьевна не против.

— Буду очень рада,— улыбнулась баба Лера, протягивая руку новому жильцу.

И опять тащились за телегой в совершенной тьме. Лошадь с фырканьем и хрустом продиралась сквозь кусты, на телеге сухо постукивали иконы, было тепло, тихо и печально. И Калерия Викентьевна почему-то думала, что печаль эта оттого, что они в темноте увозят по глубокому бездорожью иконы, которые столько лет хранились там, где и положено им было храниться: в церкви, построенной и изукрашенной на деньги искренне верующих. «Святотатство,— сказала она себе самой.— Вот это и есть святотатство: кража святынь. И все мы — и музеи, и художники, и коллекционеры, и спекулянты, и воры вроде сегодняшнего — все-все, весь народ — спокойно и деловито занимается сейчас святотатством...»

Так сказала она, заглушая в душе горький выпад ленинградца: «Нет у меня предков нашими совместными ошибками». Именно это и было высшей формой святотатства, но понимая, баба Лера упорно, изо всех сил глушила это понимание в душе своей.

Зимы здесь были долгими и снежными. В конце октября начинались первые снегопады, после праздников мороз уже не отпускал, а снега все шли и шли, засыпая избы до окон второго этажа. Жили внизу в трех маленьких комнатках, топили от темноты и дотемна, а по утрам холод все равно проникал внутрь сквозь старые бревна и ссохшуюся растасканную мышами и птицами паклю. Анисья всегда вставала первой не только потому, что была моложе, сколько по извечной бабьей привычке, внушенной матерью и пронесенной сквозь лагеря. Затапливая печь, старательно раздувая угли под пеплом и никогда не пользуясь спичками, как раздували огонь все ее далекие бабки и прабабки, подпаливала лучину, клала колодцем сухие дрова, ставила самовар, а «Лерю Милентьевну» будила только тогда, когда изба прогревалась, а самовар басовито гудел. И хотя баба Лера просыпалась чаще всего раньше своей Аниши, но вида не подавала, чтобы не нарушать заведенного порядка. Потом чинно пили чай и шли разгребать снег, чтобы не завалило совсем.

Как же я жалею сейчас, что так и не побывал у них зимой! Не ощутил утреннего пронзительного озноба, не слышал, как потрескивают, разгораясь, дрова в русской печи, не пил, обжигаясь, чай в сером сумраке северного, поздно нарождающегося дня. И не разгребал снег от крыльца, не таскал воду из проруби на Двине, не рубил эту прорубь, не носил дров из дровенника. И не слышал утреннего ворчания Анисьи:

— Господи, ну куды сыпешь-то, куды? Знаешь, поди, что мужиков нету, что нам тут разгребаться, старым бабам, а все сыпешь и сыпешь. И когда у тебя совесть заговорит?

Об этих ворчаниях часто вспоминала баба Лера в свое последнее лето. И грустно улыбалась:

— Аниша искренне полагала, что у бога непременно должна быть совесть, и что рано или поздно она в нем проснется и заговорит, и тогда случится что-то необыкновенно доброе... А ведь совесть живет только в людях. Разве не так?

— Думаю, что здесь более уместно прошедшее время.

— Пожалуй, хоть это и весьма печально... Знаете, что значит: «совесть заговорила»? Это спор двух половин души: животной и социальной, личной и общественной. А ныне совесть стремится к монолиту: либо личная, либо уж такая общественная, что не приведи господь.

— И вы серьезно рассуждаете о душе? Баба Лера, вы же атеистка!

— Именно потому и рассуждаю, что атеистка. Это у безбожников нет души, и они безумно пугаются любого ее проявления, а у атеистов душа сохраняется. Ведь атеизм — это не голое отрицание, а путь познания, который всегда опаснее самого знания: как же на нем обойтись без души? Опаснее и... жестче: прикиньте людские потери на этой дороге...

Я еще не понимал тогда, что и сама Калерия Викентьевна Вологодова тоже потеря на дороге нашего познания Добра и Зла. Я понял это, когда ее не стало, когда так ощутимо обеднел не только мой, личный, но и наш общий мир. Обеднел духовно, обеднел совестью, той, общей совестью, которая одна на всех, но разлита в мире неравномерно, а сконцентрирована в некоторых особо одаренных натурах, способных брать на себя тяжкое бремя, всегда быть центром кристаллизации этой всеобщей совести.

— Истинствовать,— любила говорить она.— Мы совершенно разучились истинствовать, а ведь это такой национальный, такой русский глагол!

Да, к истине бредут через ложь, это аксиома истории, но как же нужны неразмываемые утесы, ориентиры и точки опоры, чтобы не забрести в болото... Так я думал тогда, когда бабы Леры не стало, так думаю и сейчас: увы, мы постигаем ценность человеческой души тогда лишь, когда теряем ее...

Грешник понял эту ценность в полной мере еще при жизни бабы Леры, оборвав свой угрюмый безадресный бег в никуда и осев в Демове, но поначалу не со старушками, а в дряхлом, покосившемся дрянном домишке, расположенном на отшибе и ближе к реке. Целыми днями он трудился: стучал топором

к великой радости Анисьи, колол на зиму дрова, помогал в огороде. Но больше всего любил ловить рыбу. Вскоре, правда, колхоз превратился в ферму при совхозе, бывший председатель уехал в свои курские места, но остался Владислав Васильевич, сразу взявший на себя заботу о трех потерянных душах. Он пригнал Грешнику лодку и, смущаясь, подарил запретные орудия лова: сеть и перемет.

— Вы уж не афишируйте, ладно? А старушкам рыбки свежей поесть — первое дело.

Грешник принялся за ловлю со свойственной ему молчаливой неистовостью, и продовольственный вопрос, отнимавший столько внимания, сил и времени, оказался почти решенным. Овощи и картофель были всегда, теперь появилась рыба, и Анисья куда реже ходила в Красногорье, что, правда, ее скорее расстраивало, чем радовало. Зато она приладилась покупать по две, а то и по три бутылки, но открыто приносила только одну, а остальные прятала до поры, потому что Грешник от водки отказался наотрез:

— На дух не переношу, и считаю ее самым злостным врагом нашего народа. Категорически!..

— Ну, разве ж это мужик? — пьяно жаловалась Анисья.— Водки не пьет, нас с тобой, Леря Милентьевна, не шугает, и меня ни разу еще не облапил, будто не баба я вовсе, а куль в юбке.

— Потерпи немного, привыкает он. А привыкнет, и павестит тебя на зорьке,— улыбнулась баба Лера.— Ты, Аниша, дверь все-таки не запирай.

— Я ее которую уж ночь настежь держу,— вздыхала Анисья.— Уж сопли меня прошибли, а все зря. Он заместо теплой бабы на реку спозаранку бежит, будто водяной. И это, сестричка-каторга, летом, когда, известное дело, пень одень, и оп в лесу за бабу сойдет.

— Как зовут-то его, так и не узнала?

— Темнит. Трохименков, мол, я, и все тут, и хватит, и на хрена тебе мое имя?

— Может, без подхода спрашивала?

— Без подхода? — презрительно переспросила Анисья и безнадежно махнула рукой.— Не только что с подходом, а так ластилась, будто б... конвойная, а все зря, даже себя жалко... «Конвойная» — я сказала? А чего это я так сказала, а, Леря Милентьевна?

Таинственный Трохименков, громогласно объявивший себя Грешником, очень занимал и Калерию Викентьевну. Вдосталь наговорившись о мертвой царевне — разговор этот передала бабе Лере Анисья с массой собственных комментариев,— новый сосед больше прошлого не касался. Он вообще был на редкость угрюмым и неразговорчивым, но необщительным его никак невозможно было посчитать: он любил бывать у женщин, ел с ними из общего котла, слушал и не спешил уходить, но отвечал всегда по возможности кратко и только на поставленный вопрос. Калерия Викентьевна и так и этак подбиралась к нему, наблюдала, следила, и, наконец, поняла: ее тоже изучают, за ней тоже наблюдают и следят. И от этого открытия ей стало как-то легче: Грешник оказывался угрюмым молчуном не из-за характера, а из-за обстоятельств, поскольку, вероятно, жизнь научила его и недоверчивости, и скрытности.

— Присматривается он к нам,— сказала она.— А присмотрится, привыкнет и оттает. Вот посмотришь, Аниша, так будет.

— Не везет мне на мужиков,— Анисья упрямо гнула свое.— То пьянь с топором, то холодец с удочкой.

Кроме загадок с новым жильцом села Демова у бабы Леры появилась еще одна приятная забота: иконы. Она тщательно протерла каждую постным маслом, а потом долго развешивала в пустой, так и не обжитой ими зале, стремясь создать нечто вроде экспозиции. Дело оказалось непростым, поскольку не было ни опыта, ни навыков. Калерия Викентьевна трудилась долго и упорно, перевешивая иконы множество раз, но в конце концов своего добилась. Самодеятельная ее выставка смотрелась не просто скопищем старых, давно уж скрытых слоем почерневшей олифы досок, а маленькой коллекцией, развернутой по определенному принципу. Владислав Васильевич оказался первым посетителем.

— Я к вам иконы свозить буду. Знаете, музеи берут мало и без охоты, воруют все, кому не лень, а если и не воруют, то все равно портятся они. От сырости, от жучков, от мышей, от равнодушия да глупости людской.

Он и вправду доставил ей десятка три икон, потом — еще, и баба Лера, ликуя, развернула уже не выставку, а настоящий музей, заняв для этого почти три четверти их огромного дома. Затем все тот же Владислав Васильевич прислал реставраторов — молодую чету, людей скромных и милых. Они прожили недели три, расчистили много икон, а с десяток отобрали для областного музея, откуда вскоре после их отъезда пришло благодарственное письмо, так обрадовавшее Калерию Викентьевну. Она очень хотела быть полезной, не желала никакого законного отдыха, пенсиона, категорически утверждая, что сочетание «интеллигент на пенсии» звучит для нее с чисто чеховской иронией.

— Ну, это уж вы слишком,— сказал Владислав Васильевич, когда она изложила ему свою позицию.

Это случилось в конце сентября. Я уже отгостил и вернулся в Москву, туристский сезон тоже закончился, и Демово давно уже никто не навещал. А тут заглянул вдруг Владислав с очередной партией икон. К вечеру — а вечерело уже рано — пришел Трохименков; сдал Анисье улов, сидел в углу, молча слушал.

— Тут есть о чем поспорить, Калерия Викентьевна. Правда, спорить мы не умеем, все больше глоткой берем да цитатами, но все же.

— Знаете, почему мы разучились спорить? Мы забыли, что до спора надо уславливаться о единстве терминологии. Мы этого никогда не делаем, потому что спорам нас не учат ни в одном учебном заведении, и чаще всего вместо спора, то есть столкновения идей, толчем в ступе одну-единую просто потому, что различно называем сходные понятия. Ну, к примеру, что вы понимаете под словом «интеллигенция»?

— Интеллигенция? — Владислав не решился утверждать свое.— Прослойка общества, занимающаяся умственной и творческой деятельностью, обладающая специальными знаниями...

— То есть дипломом?

— Дипломом не обязательно, а профессией обязательно.

— Вот сколь различны наши суждения,— улыбнулась баба Лера.— Для вас интеллигенция — понятие социальное, а для меня — нравственное. Это противоречит энциклопедическим словарям? Возможно. Но ведь мы сейчас не отвечаем на экзамене по билету. В лагерях сидело множество людей образованных, которые тоже валили лес и добывали уголь, руду, золото. И что же, они перестали быть интеллигентами? Нет. Следовательно, не вид труда определяет интеллигенцию, не социальное ее положение, а запас нравственности, духовности, как говаривали в старину. Мне кажется, что под словом «интеллигенция», «интеллигент» следует понимать не способ заработка, а количество духовности выше обычного, выше норматива, а потому и перешедшее в иное качество. Интеллигентность — качественный скачок духовности человека, а есть ли при этом у него диплом о высшем образовании или нет — совершенно несущественно. Высокий духовный потенциал, скачкообразно, в полном соответствии с диалектикой, превращающей человека обычного в человека интеллигентного, естественно, легче нажить при хорошем образовании, но не это главное. Главное — ощущение своей личности, осознания своего «я», ясное представление об историческом базисе этого «я» и спокойное внутреннее ощущение своих прав и обязанностей.

— Калерия Викентьевна, вы впали в идеализм! — С торжеством воскликнул Владислав Васильевич.

— В таком случае, да здравствует идеализм. Еще Гегель говорил о делении людей на хозяев жизни и лакеев жизни: вам не кажется, что под хозяевами он подразумевал тех, кого потом русский писатель Боборыкин назовет интеллигенцией?

— Хозяин тот, кто трудится,— вдруг глухо и недобро сказал Трохименков.— Так у Горького сказано.

До сей поры он тихо сидел в углу, сопел своей огромной трубкой и помалкивал. Анисья хлопотала, таская из сеней и погреба закуски: он мешал ей,

вытянув ноги, но Анисья почему-то не сердилась, всякий раз молча перешагивала через них, а он почему-то не убирал, хотя видел, что мешает.

— Это литературная формула, друг мой,— сказала баба Лера, обрадовавшись, что Грешник включился в разговор.— Алексей Максимович вообще имел склонность к афоризмам, но далеко не все его афоризмы стали народной мудростью.

Трохименков никак не отреагировал на ее слова. Сосал свою трубку, застыв в неподвижности, спорить ни с кем не собирался, но послушать был не прочь. Владислав Васильевич так и понял его молчание.

— Так что же там у идеалиста Гегеля, Калерия Викентьевна?

— А у Гегеля сверхзадача, сверхидея «Философии истории», если помните, как раз и заключается в становлении духа и в осознании им самого себя. Теперь давайте спроецируем самопознание духа на самопознание человека, личности, и назовем познавших свое «я», свою миссию в обществе и место в нем хозяевами жизни, а поленившихся сделать это — лакеями ее. И попробуем порассуждать. Пункт первый и самый главный: отношение к труду. Хозяин воспринимает труд как нечто естественное, как потребность, как непреложный закон бытия, в то время как лакей естественным полагает ничегонеделание: труд для него — каторга, насилие над собой. Пункт второй: отношение к истине. Хозяин никогда не солжет, какой бы горькой ни была правда и какими бы карами она ему ни грозила, ибо истина для него дороже жизни. А лакей не просто солжет, как только этого от него потребуют, но солжет с удовольствием, тем самым без всякого риска себя утверждая. Согласны? Пункт третий: отношение к обществу. Хозяин воспринимает чужую волю — даже если это воля общества! — или чужое мнение всегда критически, всегда подвергая все сомнению и проверке личным опытом, поскольку имеет и личное мнение, и личный опыт. А лакей принимает чужое мнение, как приказ, без всяких рассуждений: чужим мнением, чужой волей, чужими мыслями жить для него и проще, и легче, и бесхлопотнее. Четвертый пункт: отношение к бытию. Хозяин не стремится ни к удобствам, ни к чинам, ни к званиям, ни к удовольствию, находя максимальное удовольствие в собственной деятельности и собственном труде и ради этого довольствуясь малым. А лакей? Да для него удобства, карьера, удовольствия — сам смысл жизни, сама идея ее, цель заветная. Вот вам четыре стороны жизни человеческой, и если вы проанализируете отношение людей к ним, вы придете к гегелевскому постулату: люди делятся на хозяев и лакеев не по социальному положению: ни по богатству, ни по образованию или происхождению, а только по отношению их к жизни, по осознанию ими своего места в ней. А отсюда — прямой мостик к знаменитой русской интеллигенции: да, интеллигенция декабристов и народовольцев, Пушкина и Герцена, Лаврова и Кропоткина была истинной хозяйкой жизни, ибо воспитывалась в предпосылке личной ответственности за судьбы родины. Личной, а не коллективной, Владислав Ва...

— Неправда! — вскочив, вдруг дико закричал Трохименков.— Болтуны! Сказки рассказывали, да? Народ обманывали, да? Счастья ему завтра, сахару ему в борщ! Язык подвешен, чего не наврет! А Россию проговорили, проболтали, промечтали! Про...рали Россию, про...рали, про...рали!..

Он кричал и кричал, дергаясь, топоча ногами. По лицу его текли слезы, он задыхался, рвал на груди рубашку, уже проваливаясь то ли в истерику, то ли в падучую, уже переходя на бессвязный крик пополам с матом. Владислав Васильевич и Анисья бросились к нему, но он с невероятной силой расшвырял их, упал сам, задергался, забился. Владислав навалился сверху, Анисья подхватила под плечи, держала голову, которую он все время запрокидывал. И кричала растерявшейся бабе Лере:

— Нож! Давай нож, чего обмерла? Припадочных не видела, что ли? Нож!

Вырвала из рук нож, тупой стороной разжала зубы, запихала в рот кусок кухонного полотенца, что оказался под рукой. Грешник обмяк, застыл с запрокинутой головой и крепко стиснутым в зубах полотенцем. Владислав Васильевич и Анисья перетащили его на кровать; Анисья раздела, укутала потеплее, вернулась.

— Часов двадцать ежели поспит, так ничего и не вспомнит. Вот, значит,

почему он водочкой-то брезговал...— принесла бутылку, со стуком поставила на стол.— Ну, а мы выпьем. За всех припадочных.

Баба Лера и Владислав Васильевич о чем-то говорили; Анисья не слушала. Выпила полстакана, сказала убежденно:

— Это ему за царицу. За могилы господь его покарал, потому-то он и грешник.

Анисья хорошо знала, что говорила: уж чего-чего, а припадочных в женских лагерях навидалась достаточно. И навидалась, и навозилась с ними, потому что всегда была милосердной и сострадательной. И диагноз, и последствия были указаны с абсолютной точностью: проспав двадцать часов, Трохименков ничего не помнил, но и ни о чем не расспрашивал. Лежал неподвижно, глядел в потолок, ел помалу и нехотя, а в лице появилось что-то новое («просветленное», как про себя определила баба Лера), и если прежде он был просто молчаливым, то теперь стал задумчивым.

— Хотите сказку расскажу?

Был вечер, горела лампа, и женщины сидели в теплой маленькой комнате Анисьи, где и лежал ослабевший после припадка Грешник. Анисья намеревалась заняться починкой, притащила ворох одежды; баба Лера собиралась читать ей и больному, но больной вдруг предложил сказку.

— Жила-была на белом свете очень хорошая женщина, и звали ее Доброта. Всем она была по нраву, всем вышла, как говорится, только никому ни в чем не умела отказывать. Кто что ни попросит — поплачет, а согласится. По доброте душевной. Сватался к ней, к примеру, молодец, да ни о чем не успел попросить, а другой — попросил. Доброта поплакала ночь, поплакала день да и вышла замуж за другого.

Муж ее был купец: толстый, богатый и очень жадный. Торговал, обманывал, выпрашивал, обвешивал, а сам ночей не спал: все считал, что у соседей и денег больше, и товары лучше, и жена наряднее. И так эта мысль в нем засела, так она тревожила его и покою ему не давала, что когда Доброта дочь ему родила, он эту дочь Завистью назвал. Думал, если, мол, назову, то сам завидовать перестану, а на деле ничего не вышло, и он аккурат от зависти-то и помер.

Осталась Доброта с дочкой Завистью, и началась у них трудная жизнь. Прежде она, когда одна была, всех любила, всех жалела, всех хорошими считала да умными, а теперь доченька ей каждое утро в уши жужжала: «Этот богаче нас! Та красивее меня! Эта лучше тебя!» Доброта с дочкой спорить не умела — она вообще по своей доброте никогда ни с кем не спорила — верить не верила, а по ночам плакала и сделать ничего не могла. Не жизнь — мучение сплошное, да тут опять за нею молодец ухаживать начал, но пока рот раскрыл — другой руки попросил.

Доброта опять поплакала и опять отказать не смогла.

Второй ее муж был большим начальником да слабого здоровья, и все боялся, что не успеет он до самого высокого поста дослужиться: помрет раньше времени. И чтоб этого не случилось, начитался всяких заграничных книжек и начал порчу на людей наводить. Сперва на сослуживцев да соперников, потом во вкус вошел — и на всех подряд всякие болезни да хвори. Мол, что же это получится; я помру, а они жить будут? Нет, лучше уж инфаркт с инсультом на них навести: пусть сперва они помрут, а я — потом как-нибудь. И так эта мысль его тревожила, что когда Доброта ему дочку родила, он ее Навистью назвал, а сам помер.

Стала Доброта с двумя дочками жить — с Завистью да с Навистью. Одна все время считает, у кого денег больше да платье красивее, а вторая болезни на людей наводит, чтоб соперниц всех убрать и остаться одной, а потому и самой красивой. А Доброта только плачет да убивается, убивается да плачет, а спорить не решается и вот-вот от двойного огорчения в могилу сойдет. Так бы оно случилось, да вновь повстречался ей молодец. Только с духом собрался, чтобы в любви объясниться, да оттерли его плечом, и совсем даже другой руки у нее попросил. А Доброта поплакала, да и не смогла отказать.

Третий муж у нее оказался военным и больше всего на свете людей не любил. Не каких-то там определенных: толстых, богатых, худых или бедных,

а всех вообще. Он воевать любил, а что такое война без убийства? Не бывает, поэтому он все время мечтал только о том, чтобы поскорее мир кончился, чтобы поскорее война началась. А так как люди войны не хотели и за мир боролись, то он их и ненавидел лютой своей ненавистью. Так ненавидел, что дочку свою, которую ему Доброта родила, Ненавистью назвал. Назвал, на радостях где-то там войну начал, да тут его и убили.

Вот так и осталась горемычная Доброта с тремя своими дочками, тремя сестричками — Завистью, Навистью да Ненавистью. Целыми днями сестрички своими любимыми делами занимались, а Доброта только страдала да плакала, плакала да страдала, а поделать с ними ничего не могла, да и не решалась, потому что очень была добрая. И так она себя извела, так дочки ее измучили, что все это вместе и приблизило ее смертный час. Почувствовала его Доброта и испугалась. Не за себя, конечно, а за дочерей, которых оставляла. Собрала их перед смертью и сказала так:

— Дорогие мои доченьки, Зависть, Нависть да Ненависть. Умираю я, исстрадавшись, а вас, сирот несчастных, людям оставляю. Но чтобы не пропали вы окончательно, чтоб хоть что-то в вас живое жило, чтоб людей от вас уберечь, я перед смертью на три части разорвусь и в каждой из вас укроюсь. В самой глубине, в сердцевиночке, в самом-самом тайном уголке души вашей. Настолько тайном, что сами вы обо мне вскоре позабудете, но, может, люди хоть когда-нибудь на меня наткнутся и вспомнят, что жила я когда-то на свете.

И исчезла, сказав так, в каждой из дочерей. Вот с той поры и нет среди нас живой доброты, а бродят только Зависть, Нависть да Ненависть. Но в каждой из сестричек есть кусочек от матушки, который ждет часа своего, чтобы снова вернуться к людям.

Грешник замолчал. Калерия Викентьевна вздохнула, а Анисья сказала недовольно:

— Разве ж это сказка? Я думала, про царицу расскажешь.

— А в тебе нет сестричек,— вдруг улыбнулся ей Трохименков.— Ни Зависти, ни Нависти, ни Ненависти.

— Горькая у вас вышла притча,— сказала баба Лера,— но все же до конца Доброту убить и вы не решились.

— А хотел,— сказал он серьезно.— От доброты все зло, только лишь от доброты.

— И все же не убили,— с торжеством повторила Калерия Викентьевна.— Не смогли даже в мыслях убить ее, а это значит, что за нею, за добротой, и будет в конце концов победа. Просто надо жить...

— Просто! — недовольно перебил он.— Что такое жить, знаете? Жить — это семь раз упасть да восемь подняться: что, просто? Нет, не просто, ой, не просто! Потому-то и живут хорошо если десять из сотни. А остальные не живут, а существуют. Вроде как коровы: в стойле стоят, сено едят, молочко дают, водичку пьют, а сами — в дерьме по колени.

— Откуда в вас этакая злая нетерпимость? — вздохнула баба Лера.

— Нетерпимость? — он зло ощерился.— Разве ж нетерпимость это? Это — зависть, нависть да ненависть во мне колобродят.

— Выпей,— тихо сказала Анисья.— Я тебе сейчас водички клюквенной дам, а ты выпей.

Она вышла, а Трохименков сказал:

— Людей переучивать надо. Мы все учим да учим, а надо переучивать. Всех подряд — и малых, и старых.

— Зачем?

— Зачем? А затем, чтоб ненависти, зла и зависти в людях не было. Ни к кому не должно быть ни ненависти, ни злобы, ни зависти — тогда будет мир и счастье. И доброта тогда вернется. А мы ведь ненависти учим с детского возраста, если вдуматься, злу учим, а не добру, а добро...

Замолчал, уставясь в подошедшую Анисью. Калерия Викентьевна увидела вдруг, как чуть оттаяли его глаза, как потеплело бледное до синевы, неряшливо заросшее лицо, улыбнулась и тихо вышла из комнаты. А Трохименков этого, кажется, и не заметил.

11

— Вот тогда я и подумала, что если он и расскажет хоть что-то о себе, то — одной Анисье,— вспомнила баба Лера в то последнее лето, когда никого не было в живых.— А ей неинтересно было его расспрашивать. Думаете, из-за отсутствия любопытства? Совсем нет: просто она его понимала. Она так удивительно точно его понимала, что уже и не нуждалась ни в каких комментариях.

— Родственные души? — не очень складно спрашиваю я.

— Нет, скорее,— потерпевшие крушение. Не знаю, как там другие народы, а мы, русские, хорошо понимаем друг друга только в беде. В больницах, на фронте, в лагерях, катастрофах и — потерпев крушение.

— Так скажу, Леря Милентьевна, что сильно он несчастный человек. И горе его куда нашего побольнее: мы свою каторгу снаружи носим, а он — внутри.

Анисья была очень обеспокоена этим внутренним размещением каторги у прибившегося к ним хмурого и больного мужика. Любовь ее начиналась с жалости в полном соответствии с классической путаницей русских баб относительно значений глаголов «любить» и «жалеть». Милосердие, ростки которого то и дело прорывались в истоптанной и заплеванной, как лагерный плац, душе ее, наконец-то обрели почву, цель и солнце.

— Знаешь, говорит, я, говорит, из беспризорников рос,— таинственно шептала она, по-девичьи забравшись в постель к бабе Лере, чего никогда доселе не делала.— Не знаю, говорит, ни отца, ни маменьки, под забором, говорит, с голодухи подыхал, а тут — работа: могилы раскапывать. Вот тогда-то он царицу и выкопал, а она, стерва, ему сниться начала, вот где страсти-то господни! Натерпелся он, ох, и натерпелся же, горькая душа! Потом бросил лопату, в ученье подался, на завод, что ли, устроился. И забылось, затянулось, живую царицу встретил да и свадьбу сыграл, как положено. Стали жить да поживать с молодой-то женушкой, а тут — на тебе, война. Ну, отвоевал, отстрадался, домой живым воротился, а жена возьми да помри. С радости, что ли... Я бы, наверно, с радости точно померла, не осилила бы ее, непривычная она мне... Да. А он с горя пить стал, а у него — пацан да девка, ну и пропил он их. Опамятовался: парень его в тюряге вшей давит, а девчонка по рукам пошла. И опять ему царица в гробу являться начала, и понял он, что грех на нем, мучился и метался, от пьянства лечился да обратно пил, а потом взял да и ушел куда глаза глядят. Вот, сестричка-каторга, каково оно, горе-то человеческое...

Калерия Викентьевна смахнула слезу и виновато улыбнулась. Она никогда не плакала, но в то последнее лето слезы часто появлялись на ее щеках; баба Лера поспешно вытирала их и непременнейшим образом улыбалась, безмолвно прося прощения. Публичное проявление слабости русская интеллигенция всегда считала недопустимым, и Калерия Викентьевна Вологодова искренне стеснялась собственных чувств.

— Великое счастье Аниши, что она умерла, свято веря в легенду.

— Значит, Грешник лгал?

— Лгал? — Калерия Викентьевна задумывается, непроизвольно встряхивая седой аккуратной головой.— Нет, это не ложь, это нечто иное, очень национальное. Помните, Герцен говорил, что у нас, у русских, чересчур уж развит бугор желания нравиться? Это — святая правда, я многажды убеждалась в прозорливости нашего гения, но с одним непременным уточнением: мы, как правило, стремимся понравиться абсолютно бескорыстно. И этот несчастный сочинял себе биографию, думая прежде всего об Анише. Он ведь прекрасно знал и то, где провела она зимы свои, и то, что она любит его со всей отчаявшейся силой. Это не мои догадки, это его собственные признания, когда не для кого стало сочинять. А мне поначалу вообще ничего не рассказывал. Отмалчивался, отнекивался, ворчал что-то невразумительное. А говорить о себе начал после того, как сказочку сочинил. Странная сказочка была, нелепая какая-то, судорожная, и только потом — потом, задним числом! — поняла

я, что это ведь его доброту разодрали Зависть, Нависть да Ненависть. Он о собственной жизни аллегорическое предисловие поведал, словно предупреждал: «Думай, старая, думай, вникай в душу мою». Но, повторюсь, это все я сообразила с запозданием. И слава богу, что с запозданием, слава богу...

Белая, старательно — волосок к волоску — причесанная голова бабы Леры непроизвольно подергивается, но старое, сморщенное лицо ее озаряется улыбкой. Улыбка уже не молодит, и все же что-то непобедимо иное просвечивает изнутри. Не иссохшего тела, нет,— изнутри самой жизни бабы Леры. Просвечивает тем, ради чего жила на свете ровесница века Калерия Викентьевна Вологодова.

— Я думала, мы с ним — сверстники, потому что он и выглядел и рассуждал, как сверстник. А потом узнала, что он на десять лет моложе, что революцию встретил ребенком. Казалось бы — пропасть между нами, временной провал, а по сути, по мировосприятию, что ли, никакого провала не было. Странно, правда? Ведь между нами не просто десять лет — между нами гражданская война, величайшее потрясение народное.

Я тогда не ответил, да баба Лера и не ждала ответа. А ведь суть заключалась в том, что юная Лерочка Вологодова, в семнадцать отважно шагнувшая в самое пекло гражданской войны, так и осталась восторженной гимназисткой, в то время как все вокруг взрослели с ускорением, обусловленным боями, шомполами, расстрелами, виселицами, голодом и холодом. Законсервированная романтической влюбленностью молодость Леры Вологодовой притормозила ее взросление, тогда как бескомпромиссная ярость села, в котором рос Трохименков, бандитские пули, продразверстка и голод делали из подростка мужчину в считанные месяцы.

— Считайте, ровеснички мы: оба в саже, если не гаже. Только все же есть разница меж нами, Калерия Викентьевна: вы образованная, а я — с Поволжья. С голоду бежал куда глаза глядят. Знаете, что такое голод?

Грешник заговорил после припадка. Сперва рассказал сказочку, а затем потянуло его на беседы, и если раньше он предпочитал слушать, то теперь — рассуждать.

— Голод — всему предел: отец дочку за корку хлеба продаст, мать — себя саму, брат — сестру, сестра — брата, потому что нет больше законов. Только страх в тебе растет, а законов нету. И каждый, у кого хлебушек, тебе что захочет, то и скомандует. А ты — исполнишь. За пайку хлеба все исполнишь, вот как я теперь понимаю. У кого хлеб, у того и сила, потому и организовали, значит, колхозы, чтобы силу к рукам прибрать. А дальше просто: кто накормит, тот и барин, мы к этому привыкли, нам и переучиваться не пришлось.

— Друг мой, у вас упрощенческая точка зрения и, извините, вредная. Да, очень вредная и не наша. Я многих встречала в лагере, которые проповедовали то же самое, и, скажу искренне, возмущена, что их реабилитировали. Колхозное строительство было закономерным шагом на пути исторического развития нашего общества. Закономерным!

— Опять в слова играем? — усмехнулся Грешник.— Ну-ну.

— Да поймите ж, дорогой мой, у нас, у нашей страны просто не было иного выхода. Не было, не существовало. Россия окончательно разорилась и обессилела после мировой, а затем и гражданской войны. А капиталистическое окружение существовало реально, и там, за кордоном, только и выжидали удобного часа, чтобы навсегда разделаться с первым в мире государством рабочих и крестьян. И нам необходим был решительный шаг, чтобы превратить Россию в современную индустриальную...

— За чей счет? Бросьте, слова все! Кто нам угрожал, когда весь мир аккурат в то самое времечко переживал Великий Кризис? Да если бы и угрожал, так неужто страх тех слез да крови стоит, которые мы из крестьянства выжали, наганом его в коллективный рай загоняя? Да вы лучше на Анисью свою гляньте, на сестрицу названную, как сами же утверждаете.

— Я лучше вас знаю цену, которую мы заплатили истории,— баба Лера невольно повысила голос, хотя всегда стыдилась этого.— Но и за восемнадцать

лет лагерей я ни разу не позволила себе ни нотки сомнения. Ни я, ни мои друзья по борьбе за идею...

— Да идея для вас — давно уже зеркалом стала,— спокойно и даже с некоторой укоризной перебил Грешник, и Калерия Викентьевна замолчала в растерянности.— Вы в него всю жизнь гляделись, всю жизнь в нем себя да тех, кто рядышком, видели, всю жизнь восторгались, какие, мол, мы смелые, честные, чистые да красивые. И столько в вас восторгу этого накопилось, что вы и сегодня всех зовете в то же зеркало глядеться да и сама перед ним красуетесь. А я сызмальства в то зеркало с иного боку глядел, с изнанки. Знаете, что у зеркала с изнанки? Чернота.

Баба Лера не сразу нашлась, что ответить, но он и не ждал ее ответов. Он будто снова заглянул в свою черноту, увидел ее так, как воспринимал много лет, и не нуждался более в собеседнике. Ему нужен был слушатель; а может быть, и слушателя не требовалось: требовалось высказаться. Говорить и говорить, и он — говорил.

— Почему я в беспризорниках не пропал? Так отвечу: с голоду. Хорошо я его узнал, близко: у нас полсела от него вымерло, а мои родичи — так все поголовно. И я голода боялся больше всего на свете, потому и не пропал. Я обеспеченный кусок хлеба искал, а не только тот, что стибрить удалось, а потому возле заводов да мастерских разных куда чаще вертелся, чем возле базаров. И приметили меня, в чернорабочие приспособили. На полдня, правда, и на ползарплаты, но к делу определили, карточки выдали продовольственные, талоны в столовую. Но жизнь мою не завод определил, а — митинг, на который меня с завода послали как не имеющего рабочей профессии. Знаете, что я на том митинге услыхал? Самое главное, что меня тогда тревожило: «Чтобы хлеба у нас всегда было вдоволь, надо строить новые заводы. А чтобы строить, нужно золото, потому что только на золото буржуи продадут нам станки и разное оборудование. А золото — в земле: одурманенные религией темные люди хоронили своих эксплуататоров с кольцами, цепками, сережками, крестами и прочими драгоценными побрякушками. И мы объявляем все скрытые в могилах богатства народным достоянием...»

— Какое кощунство! — баба Лера возмущенно передернула плечами.— Не верю, слышите? Не верю вам!

— Вру, значит? Не-ет, слово в слово запомнил, слово в слово и вам повторяю.— Трохименков помолчал и вдруг выкрикнул: — Он хлебушка мне обещал, вдоволь обещал, понятно это вам? Мне, у которого с голодухи померли все! Кощунство? Кощунство — это когда в России с голоду мрут, вот это — кощунство. И я первым заорал тогда, на митинге, когда добровольцев стали записывать. Потому заорал, что голод собственным брюхом прочувствовал, что не себя — я уж сыт тогда был — я весь народ, всю Россию хотел хлебушком досыта накормить. Вот тут-то мне сразу заступ и вручили. Орудие производства.

В тот день он ни слова более не добавил. То ли увидел, с каким брезгливым ужасом смотрит на него баба Лера, то ли сам настолько разволновался, что и говорить-то уж не мог. Отвернулся лицом к степе и замер, как в недавние времена.

А Калерия Викентьевна до вечера бродила, как потерянная. Натыкалась на стулья и лавки, ела, не разбирая, что ест, а в голове вертелся рассказ Грешника о том, как он стал грешником, почему вызвался сам, и как вручили ему прилюдно страшноватое орудие его производства.

— Леря Милентьевна, да что это с тобой? — растревожилась Анисья.— Да никак заболела ты, что ли?

— Нет, Аниша, не заболела. О болезни узнала.

— О болезни? Это ж о какой такой?

— В мире есть царь, этот царь беспощаден: голод прозванье ему.

— Да уж, не приведи господь,— вздохнула Анисья и перестала допытываться.

Грешник вернулся к рассказу о себе на следующий день, как только ушла Анисья. Она хлопотала по хозяйству с зари и до зари, загодя готовясь к затяжной, вьюжной и суровой зиме.

— И начали мы свои кладбища перелопачивать. От края и до края, как в песне поется. Так скажу, что ни одной неразграбленной могилы у нас не осталось. Почему, спросите? Да потому, что и мы, гробокопатели, соцобязательства на себя брали, выполняли и перевыполняли. А порой и взрывали, чтобы концы в воду. И таких пустых ям после нас — вся Россия.

Он продолжал говорить, но баба Лера вдруг перестала его слышать. В ней впервые вздрогнуло что-то, будто на миг щелкнули выключатели, осветили, но свет тут же погас, и Калерия Викентьевна напрасно вглядывалась во вновь сгустившуюся тьму.

— Это я потом поняла, что Россия для Трохименкова всегда была понятием старательским, а не историческим, не родным и даже не административным. Думаете, уникум? Как бы не так. К величайшему сожалению, мы взрастили, выпестовали целую армию подобных Трохименкову золотишников, которые беспощадно вымывали из нашей родины и нашего народа крупицы золота, все остальное сваливая в отвал. Цель оправдывала средства — будь то человеческая жизнь, любовь, достоинство, честь...— Баба Лера горестно качает седой головой.— Да, так о Грешнике. Не до конца я его поняла тогда, если правду сказать. Мне, например, до самого последнего часа неясно было, зачем он выдумывал то, что так легко открывалось. Да не как частность придумывал, не ради красного словца, а в качестве основополагающей причины собственных поступков.

— Что именно, баба Лера?

Последнее лето, закат, играющая красками Двина. Баба Лера смотрит на меня глубоко запавшими, воспаленными от беспрерывного неуемного чтения глазами, синими до сей поры. В них — горькое недоумение... Или я ошибаюсь? Может, не недоумение это, а прозрение? Столь же горькое, почему я и ошибаюсь.

— Помните, я говорила вам, что председатель колхоза потребовал у Трохименкова паспорт? А вскоре после нашего разговора о разворованных склепах и перерытых кладбищах председатель сдал дела и перед отъездом на родину, в свою Курскую область, зашел попрощаться. Разговаривали наедине — Аниша Трохименкова прогуливала, он уже выходить начал,— пили чай, и я вспомнила о голоде, который столь страшно отразился на судьбе нашего Грешника. «Какой голод? — удивился председатель.— Да он же, Трохименков этот, в Воронежской губернии родился. Далековато от поволжского голода...»

— Как? Значит, выдумывал он про голод, про погибшую семью? Зачем? С какой целью?

— И здесь — все непросто. Он же мог предполагать, что я знаю правду или могу ее узнать: ведь в паспорте обозначено место рождения,— баба Лера замолкает, долго, задумчиво глядя на спокойную Двину.— Может быть, ему хотелось, чтобы я сама догадалась?

— О чем?

— О чем? О том, о чем сумела догадаться моя Аниша. Любовь прозорливее старости...

Тогда баба Лера ни словом не обмолвилась Грешнику о словах председателя. Он уже вставал, уже выходил один, но пока ненадолго, а долго гулял только с Анисьей, когда она бывала свободна. Кое-что делал по дому, но пока осторожно и вроде бы без прежнего удовольствия. А вот к рассказам возвращался постоянно, как только оставались вдвоем.

— Вот говорю с вами, говорю, а — не договариваю. Улавливаете? Автобиографию излагаю, а не саму сущность ее.

— А в чем же сущность?

Баба Лера старалась поддерживать прежний тон, хотя это давалось ей нелегко. Она не умела хитрить, не любила недоговоренностей. Природная деликатность удерживала ее от грубого: «Хватит лгать, знаю я про ваш го-

лод!», и Калерия Викентьевна, насилуя себя, играла роль непривычную, чужую даже.

— Многого нас жизнь лишила,— сказал он.— А главная потеря — так это искренность. Боимся мы друг друга, и даже на самом краю земли и жизни до конца не раскрываемся. Исповеди избегаем.

— Исповедь требует высшего мужества. Оно не каждому по плечу.

— А вы переменились в разговоре со мной, Калерия Викентьевна. Сильно переменились. Раньше все — «друг мой» да «дорогой мой», а теперь — нини. Могилы мои испугали?

— Поверьте, что нет. Без задних мыслей... друг мой.

— Ну поверю,— Грешник невесело усмехнулся. Помолчал, сказал, понизив голос: — Могилы раскапывать погано, но раскулаченных развозить — еще поганее, почему и боюсь, что Анисья услышит.

— Возили?

— Сопровождал. Только не проговоритесь, богом прошу. Одна она у меня.

— И Анишу тоже... сопровождали?

— Нет, тут повезло, я на других направлениях служил. Собрали нас в начале тридцатого года, велели лопаты сдать и — по эшелонам. Нет, не конвойными, а сопровождающими. Получаешь эшелон, по пути следования глядишь, чтоб хоть воду давали, но главное — агитируешь. Мол, ты кем, отец, был? В навозе ты копался, как жук, а теперь в рабочий класс переходишь. Гордись!.. А бабы в голос ревут, детишки до немоты запуганные, на станциях никого из вагонов даже по нужде не выпускают, а мы знай себе текущий момент разъясняем. «Черные доски» помните?

Помнила баба Лера и «черные», и «красные» доски: как раз к тем годам, о которых рассказывал Трохименков, они широко утвердились в общественном обиходе. Доски эти висели в каждом учреждении, в каждом колхозе, заводе, школе — везде, где только работали и учились — и на них регулярно заносились имена передовых и отстающих. Таковыми могли оказаться не только отдельные работники, но и фабрики или колхозы, а то и целые районы. Это начиналось как средство наглядной агитации, но очень скоро было принято решение о принудительном выселении «чернодосочных» колхозов. Таким путем убивали сразу двух зайцев: запугивали деревню, делая ее послушной и старательной, и обеспечивали многочисленные стройки первой пятилетки бесплатной рабочей силой, потому что на основании решения о выселении «чернодосочников» можно было отправлять куда угодно — хоть на Волгу, хоть на Урал, хоть в безводную Среднюю Азию. Но отправлять не с вооруженной охраной, а в окружении актива наблюдающих и агитирующих.

— Возил я их, Калерия Викентьевна. Не раскулаченных, конечно, а все одно Анисьиных глаз боюсь...

Деревню рвали из земли, как коренной зуб: с хрустом, с мясом, с болью, с кровью, а вместо наркоза без передыху нахваливали завтрашний земной рай. Грохотали по бесконечным российским дорогам спецэшелоны, груз, как скот, принимали по счету и сдавали по счету, заменяя умерших официально заверенными бумажками: «мужчин сто двадцать три, женщин сто сорок семь, детей шестьдесят два да пятьдесят четыре акта на выбывших в пути». А далее — дощатый барак, трехъярусные нары, буржуйка да сушилка, если она была. Подъем по рельсу, обед по рельсу, отбой по рельсу, а между рельсами — работа, работа, работа. И бесконечные митинги: «Ура, товарищи, первой свае!..», «Ура, товарищи, первому пролету!..», «Ура, товарищи, первому цеху!..» — знамена, грохот оркестров, речи и всеобщие восторги. Рождались новые города, дороги, заводы, плотины, каналы, а умирали люди. Умирали тихо, без речей и оркестров, будто стыдясь, что помирают. И никто не подсчитывал, сколько человеческих душ заключено в одной лошадиной силе, и не слишком ли дорого нам встал неистовый энтузиазм первых пятилеток.

Трохименков и его товарищи не возводили цехов, не рыли траншей, не топтали ледяной бетон босыми ногами: они сопровождали, агитировали, следили, рассказывали о примерах. И все действительно росло, строилось, возникало на чистом месте, оживало, дымило, давало чугун и лошадиные силы, прокат и киловатты, автомобили, тракторы, комбайны. Великая цель

оказалась реальной, не только достижимой, но и уже достигнутой раньше всяких сроков, и поэтому никто никогда не думал о средствах. Цель затмила их навсегда — именно в этом и заключалось величайшее достижение энтузиазма,— а выжившие раскулаченные, силком трудообязанные и прочие провинившиеся элементы и вправду уже перековались, получив специальность, навык, опыт и тем самым шагнув в ряды рабочего класса. И Трохименков видел гигантский размах строек, он с невероятной гордостью ощущал дерзостный порыв, он жаждал сам со всей энергией участвовать в великом деле.

— Я хочу стать монтером.

— Ты пойдешь учиться. Мы знаем, что у тебя слабовато с образованием, но — поможем.

Помогли...

— Помогли,— лицо бабы Леры делается строгим, застенчивая улыбка вдруг покидает его.— Вспоминаю один разговор. В начале зимы... может, почувствовал он, что последняя она, зима эта?..

— Знаете, кто самый счастливый? Те, у кого детей нет.

— Я, по-вашему, самая счастливая.

— У вас есть дети, Калерия Викентьевна. Просто вы не знаете, где они и какие они, но они же существуют. Существуют — для мести. Кто знает, может, и отбирали-то их у вас, и фамилии им меняли, чтоб потом мщение их использовать.

— Каждое последующее поколение лучше предыдущего. Иначе и быть не может, это закон человеческого развития.

— Каждое последующее поколение судит предыдущее, потому что знает, понимает и может оценить его действия. Нет, уважаемая Калерия Викентьевна, сыновьям дано отмщение за грехи наши. Им отмщение, им.

— Знаете, а я один раз напилась,— неожиданно призналась баба Лера.— Купила бутылку водки и выпила почти всю. Одна. В пятьдесят восьмом, что ли. Когда окончательно сказали, что разыскать моих детей не представляется возможным. Извините, это — чисто женские воспоминания, а вы говорили о...

— О боязни,— он тоже говорил непоследовательно, потому что это была не беседа, а мысли вслух.— Люди всего боятся, замечали, поди? Смерти и жизни, прошлого и будущего. И общества боятся, и одиночества... Бояться — самый необходимый, самый наш глагол.

— Простите, не совсем поняла. Вы начали говорить вдруг очень уж литературно, друг мой, и суть я упустила.

— Суть? Суть — в удивлении: это как же нужно прожить жизнь, чтобы бояться в глаза собственным детям смотреть? Так что вы, Калерия Викентьевна, счастливый человек, что так и не нашли своих детей...

12

В ту зиму, страшную не только своими морозами, но и своей прицельной жестокостью, снега легли поздно. Уже цепко держались морозы, уже трещали деревья в лесу, уже звонким льдом затянуло старицы и заливы, а дороги еще не перемело. Еще не завалило их окончательно, еще кое-где и снега-то не было, а где был — так не выше колена. Еще Демово не отрезало от людей, не превратило в один-единственный дом, окруженный снегами по самые плечи. Еще существовала нормальная связь с Красногорьем, и Анисья торопилась использовать эту природную милость, через день бегая в магазин, в котором покупать было нечего. Но водка и здесь не переводилась, и Анисья помаленьку запасалась ею, хотя впрямую никогда этого не говорила, заботясь как бы совсем о другом:

— Спичек надо прикупить.

— Да ведь у нас есть спички, Аниша. На три зимы.

— Леря Милентьевна, так скажу, что запас ж... не дерет. А ну, как отсыреют все враз?

В эти походы ее часто сопровождал Трохименков. Рыба уже залегла в ямы, не ловилась ни на крючки, ни в сети, а прогулки в Красногорье занимали все светлое время: уходили в темноте и возвращались затемно. Продрогнув и промерзнув, шумно вваливались в жарко натопленную избу к уютному самовару и готовому столу, и во всем была странная, почти праздничная радость. Радостью был теплый дом после длинной холодной и ветреной дороги; радостью оказывался накрытый стол после столь долгого пути; радостью пел самовар, и все эти радости вместе создавали праздник.

— Ах ты, рюмочку с устаточку! — восторженно и умиленно приговаривала Анисья.— Ничего нет слаще для русской души.

Странные это были походы. Весь длинный путь туда и назад, от Демова до Красногорья, от Красногорья до Демова, шли молча, и им было так хорошо, что усталые души их светлели, а ноги шагали и шагали, будто не отшагали до этого целые жизни. И никакой разговор не требовался, словно общались они друг с другом на тех, особо коротких, волнах, когда мужчина и женщина понимают друг друга без слов. А если и возникали слова, то и они звучали особо:

— Ты не устала?

— Ай, несут меня ножки, Васенька. Я ж кругом тебя раз сто обегаю, а ты и не замечаешь.

— Не замечаю, Нюша. Ты уж прости, угрюмый я.

— И не замечай, угрюмый мой, мужикам не все замечать надобно. Вы ведь, поди, и знать-то не знаете, что бабы от счастья над землей летают.

Или — шепотом:

— Глянь, Вася, белочка. Ах, хороша, ах, красива-то как, господи?

И брала его за руку. И они долго стояли рука в руке, глядя на рыжего зверька, деловито очищающего шишку. Так ведут себя молодые, вдруг заново замечая птиц и зверей, траву и деревья, солнце и дождь. Непрожитое дремлет в душе человеческой, как зерно, ожидая тепла и влаги, чтобы прорасти. И в душе Анисьи хранилась мечта о счастье и, ощутив тепло, проросла и зазеленела; и хмурый, ушедший в себя Грешник понял ее и понял себя, начав неуверенно улыбаться. Нерастраченная нежность Анисьи не только согрела, но и озадачила его: он все время хотел сделать ей приятное, доброе, все время страшился ненароком обидеть, задеть, оцарапать ее распахнутое настежь сердце, боялся, что слишком уж он сух, ожесточен, углублен в себя.

— Да будьте вы сами собой,— говорила баба Лера.— Не думайте вы, бога ради, как вести себя: женщины особенно чутки на естественность поведения, и Аниша только огорчается от вашего старания.

— Боюсь эгоистом стать.

— Напрасно, эгоизм свойственен мужчинам. И, признаться, мы с Анишей стосковались по эгоистам.

— Смеетесь, Калерия Викентьевна?

— Улыбаюсь. От счастья за названную сестричку свою. И этакая сладенькая мысль шевелиться начинает — о торжестве справедливости. Признайтесь, эта наивная мечта всех оскорбленных и униженных, вас тоже порою умиляет?

— Не далее как вчера, когда мы два часа муравейником восторгались,— мягко улыбнулся Трохименков.— Нюша мне про муравьиное хозяйство рассказывает, а я смотрю на это хозяйство и думаю, что у доброго человека счастье всегда с собой. Увидел птицу — обрадовался, увидел росу на листке — умилился, обогрел встречного — и сам счастлив больше его самого. И еще я подумал, что вот такими и были, наверное, русские люди — носили счастье с собой и радовались, коли счастьем этим поделиться удавалось. А им вдруг иную задачу взяли да и поставили: брать, хватать, покорять, добиваться. «Нет таких крепостей...», «нечего нам ждать милостей от природы...», «покорим тайгу, реки, пустыни...» — помните? Противен народу был этот культ силы да завоеваний, вот он и запил. Так, как сейчас, Россия за всю свою историю не пила, потому что это не просто распитие водки — это запой. Родина наша в запое, Калерия Викентьевна, вот ведь беда какая с нею приключилась.

— Запой? — задумчиво переспросила баба Лера.— Пожалуй, соглашусь: да, у нас уже не пьянство, у нас нечто пострашнее. И если раньше говарива-

лось, что «веселие Руси есть пити», то теперь — «забвение Руси есть пити»: раньше искали в вине веселья, ныне — забвения, что типично для форм тяжелого алкоголизма. Тут я с вами согласна, только причину усматриваю в ином. Совершенно иная причина, как мне кажется, в этом всероссийском запое.

— Какая, любопытно? — усмехнулся Трохименков.

— Знаете, я училась, когда национальным характером объясняли очень многое, доводя зачастую вопрос до абсурда, до тупика. Скажем, англичане по натуре — господа, французы — бунтари, немцы — солдаты, а русские кто?.. А русские, увы, холопы. Нам свойственна смиренность так же, как британцам — гордость, французам — дерзость, а немцам — исполнительность.

— Ничего себе смирение. Три революции за двадцать лет.

— А сколько терпели до этого? Нет, друг мой, в общем контексте истории наши революции лишь подтверждают свойственную России смиренность. И это понятно: если учесть тысячелетнее отсутствие элементарных свобод, монгольское иго, феодальную грызню, боярское безграничное самовластие, засилие чиновников всех рангов и, наконец, крепостное право, отмененное у нас великодушием верхов, а не яростью низов. Все это не могло не создать совершенно особый тип народного характера: внешнее смирение и согласие, при глубоко спрятанном бунтарстве и отрицании. Говоря «да», мы никогда не исполняем этого «да» до конца, потому что именно этим путем и привыкли выражать свое несогласие. Саботаж — вот наиболее привычная форма борьбы для русского народа, ибо он сотни лет мог бороться только таким путем. Внешняя покорность при полном внутреннем неподчинении — вот что такое русский национальный характер. И пьянство, массовый алкоголизм, тот всерусский запой, который вы так точно подметили, есть, как мне кажется, лишь иная форма свойственного нам подспудного протеста. Так сказать, моральный саботаж или, точнее, саботаж общепринятой морали, которая подавляющему большинству кажется навязанной, а потому и фальшивой.

Они спорили почти каждый день и почти по каждому поводу. Споры эти рождались не от несогласий, а от желания задать вопрос и получить ответ, а потому не разводили их, а сближали. Споры носили, как правило, характер абстрактный, теоретический, и Анисья участия в них не принимала. Она в последнее время вообще уже и не спорила: будучи яростной спорщицей по натуре, вечная каторжанка вдруг отмякла, заудивлялась душе своей, заулыбалась новому своему состоянию и позабыла и о спорах, и о дерзостях, и о шуме, став тихой, ласковой и теплой и сохранив от старого только тягу к рюмочке.

— Гляди, Васенька, гуси домой летят. Вот сколько разов гляжу вслед, столько и думаю, а увижу ли, когда возвратятся они? Или уж и сама улечу, откуда не прилетают?..

Она никогда не ждала от него ответов: немыслимую радость доставляла ей сама возможность задавать вопросы не по необходимости, а просто так, от ощущения полноты жизни.

— Гляди-ка, небо-то какое синее! А почему это оно синее, Васенька? Воздух насквозь виден, и цвета в нем никакого, хоть назад, хоть вперед гляди. А как на небо — так синь и видишь. Откуда ж синь эта, Васенька?

Ожесточенному и потерянному Трохименкову с нею было легко. Он сам согревался и оттаивал, но порою вдруг точно спохватывался и — злобился:

— Святые вы, что ли? Ведь били вас и обижали, оскорбляли и издевались, близких уничтожали, молодость украли, жизнь загубили, а вы все равно радуетесь. Чему вы радуетесь-то, объясните?

— А что люди живут, Васенька. Живут где-то люди, синь эту видят, солнышко чувствуют да детишек доброму учат.

— Доброму? Ну-ну, заблуждайся,— зло и недоверчиво ворочался в Трохименкове вчерашний Грешник.

Но доброе и на него действовало: приступов долго не случалось. Однако до излечения было далеко, и в начале той злой бесснежной зимы его забило вдруг со всей накопившейся силой. А на следующий день, когда по Анисьиным расчетам полагалось всему пройти, поднялась температура. Ни компрессы, ни малина, ни расхожие лекарства из аптечки Калерии Викентьевны не помогли, и через сутки Анисья кинулась в Красногорье за фельдшерицей.

Вышла затемно и все четырнадцать верст пролетела единым духом, будто молодая. Будто не было за плечами каторги, невиданных тягот и неслыханных потерь, будто стояло ее Демово во всей силе и красе, будто стоял в том Демове просторный дом, рубленный на века, будто по-прежнему жила в нем большая, дружная, работящая семья и будто все еще была в этой семье матушкина баловница Нюша, на которую засматривались не только парни, но и мужики с бабами: «Ай, хороша девка у Демовых. Всем хороша!» Нет, не одна радость крыльями снабжает: у страха в запасе куда помощнее двигатели. И они гнали сейчас Анисью сквозь мертвый, заледенелый в бесснежной стуже лес, не давая ни вздохнуть, ни охнуть, а все бежать да бежать, бежать да шептать: «Господи, пощади, господи, не отымай, господи, сохрани!..» И не помнила, как домчалась до Красногорья: ни времени не запомнила этого, ни собственных слез и молитв, ни даже того, замерз ли ручей подле бывшей мельницы, тоже не помнила. А ведь там как раз и повстречалась она впервые со своим Васенькой, с Трохименковым, с великим Грешником, разрывшим заступом своим не одну сотню могил, а зарывшим еще больше. И опомнилась, когда ноги подкосились.

— Уехала фельдшерица.

— Как уехала? Куда это? Зачем?

Вот тут и сломало ее. Слабость вдруг накатила, какой и не ощущала никогда. Не то что тело — каждая клеточка надломилась в ней.

— Как же, как?..

— За маслом. Масло ей в Котласе обещали достать. Целых два кило.

— Два кило?..

Она это спросила или нет? И голоса не было, а — спросила. Про два кило масла, что обещали в городе Котласе единственной их фельдшерице. Сутки езды.

— Обещала завтра к вечеру вернуться. Послезавтра до вас доберется.

Посидела, покурила. Что-то говорили ей — вроде фельдшерицы дождаться предлагали, чтобы вместе ехать,— она не отвечала, да и не очень вслушивалась. Докурила третью папиросу — и отпустило ее. Почувствовала, как продрогла, сидя распаренной после бега на морозном ветерке, и пошла в магазин. Купила хлеба, сколько выпросила — шесть буханок отпустили, по две на человека,— купила водки — этого добра без счета давали, хоть залейся, и выпила бутылку без передыху, как блатные пьют.

— Обогрейся,— сказала продавщица.— Ознобла ведь.

— Идти надо. Темь в лесу и зги не видать.

И пошла. Шагала, покачиваясь то ли от мешка на горбу, то ли от выпитой натощак бутылки, то ли от усталости — еще той, безнадежной, вскоренившейся в ней, которую носила постоянно, будто невидимые миру каторжные свои кандалы. В голове звон стоял, и она не шептала больше молитв, да и не помнила ничего, тупо, как заведенная, переставляя задеревенелые ноги.

Опомнилась на спуске к ручью. Здесь дорога делала крутую петлю, огибая подпертое некогда плотиной озерко. От него осталась заросшая болотина; мороз сковал последние бочаги, сверкающие голым льдом в быстро надвигающихся сумерках, и Анисья вдруг изменила привычный маршрут. Вместо дуги в добрых полторы версты решила идти напрямик через замерзший ручей и заболоченную низину: спуститься через кустарник, пересечь поблескивающее льдом болото да подняться к развалинам старой мельницы, где когда-то впервые увидела Грешника... Сейчас она вспомнила об этой встрече, устало улыбнулась и решительно заспешила вниз по промерзшей, твердой, как камень, земле, сквозь голые хрупкие кусты. Спустилась в низину и засеменила через болото, оскользаясь на отполированном ветрами бесснежном льду.

Он был прочным и звонким, не трещал и не прогибался, и Анисья ступала смело, боясь только упасть. Сумерки густели с каждым ее шагом; она спешила, а тут еще налетел ветер, сек лицо, вышибая слезы. И, прикрываясь от него, Анисья не заметила, как вступила на старое русло, где лед был еще тонок, потому что быстрая вода не успела промерзнуть до дна. И провалился он поэтому почти беззвучно и совершенно неожиданно: словно разъехался под ногами. Было неглубоко, опора нашлась сразу, и Анисья даже не успела испугаться. Но лед кругом оказался хрупким, вылезти на него не удавалось, и она,

спеша и задыхаясь, долго шла через ручей, ломая ледяной панцирь и остро ощущая облепивший тело холод. «Угораздило! — сердито подумалось ей.— И чего ты дурачка-то строишь? Господи, мало, что ли, надо мной покуражился?..»

Когда вылезла, не только юбка — все белье и само тело было мокрыми. «Господи, пока тут костер разожжешь... Тьфу ты, господи!..» Нет, не хотелось ей терять время, тюркаться в темноте, разводить огонь, сушить тряпки свои. Торопливо разделась на ветру, отжала, как смогла, одежду, натянула сырое на голое, уже стынущее тело, приговаривая: «Ах ты, господи, ну, дурень ты старый, ну, зачем это наделал, для какого ляду?..» Хлебнула добрую половину из захваченной бутылки и кинулась по заросшей знакомой дороге, уже невидимой в темноте.

Еще на бегу том — страшном, сухо звенящем бегу заживо замерзающего человека — ее впервые ударило тяжелой, сжимающей болью. Боль росла изнутри, обессиливала, не давала дышать, и Анисья не понимала, откуда идет она, эта боль. Что заболело-то у нее, где уголок тот, который вдруг способен бросать в пугающий ледяной жар ее всю, целиком, который сильнее, с которым не сладить никакой силой, не затушить, не укротить. «Да что же ты делаешь-то, Господи?! — почти с отчаянием подумала она.— Ведь этак и помру сейчас, на бегу помру, а как же сестричка моя, как же Васенька? Как же они-то зимою, да без меня...»

Вот на этой отчаянной мысли («Да как же они-то зимою да без меня?»), на этой единственной силе Анисья и добежала до дома. Добежала, гремя заледенелой одеждой, оскользаясь и спотыкаясь и уже не видя ничего. Вошла, хватая широко разинутым ртом не желающий лезть в легкие воздух, хотела что-то сказать, два раза губами плямкнула и — рухнула на пол.

— Восемь километров с инфарктом — это кто же мог бы, кроме моей Аниши? — тихо спрашивает кого-то баба Лера, и две слезинки сползают по морщинистым щекам.— Почувствовала тогда, что умрет раньше меня, вот ужас-то в чем заключается. Я ведь без ее забот оставалась: без дров, которые она носила, без печки, которую она топила, без уборки, стирки, без хождения за хлебом в Красногорье. Ей казалось, что она смертью своей меня предаст, можете себе это представить?

Это — через полгода после того дня. Я только что приехал, только вошел; я сижу рядом с бабой Лерой и почему-то держу ее узкую, сухую ладонь в своих руках. А она — рассказывает:

— Восемь километров с инфарктом...

Тогда Калерия Викентьевна сама поставила диагноз, исходя скорее из интуиции, чем из опыта. Уложила в постель, не велела вставать, постаралась снять боль. На третий день, как и было договорено, приехала фельдшерица, полпути проделав пешком и подобрав по дороге брошенную Анисьей котомку с хлебом. Подтвердила диагноз, испугалась сама, велела срочно в больницу...

— Катись,— задыхаясь, с хрипом выговорила Анисья.— Где еще что дают?

— Врача надо,— всхлипывая, говорила фельдшерица бабе Лере.— Я сообщу, не беспокойтесь. Я чего уехала в Котлас? Дети у меня, двое, а сестра двоюродная — она в столовой работает — масла обещала. А насчет врача, может, мотосани, а? Хотя снега нет, не дадут. Может, вертолет? Вы же понимаете: дети у меня. Двое. Как без масла-то, а?..

То ли от волнения, то ли от домашних средств, то ли сам собой — а выздоровел Трохименков. Днями и ночами сидел подле серой, безучастной, с трудом дышащей Анисьи, и она молча глядела перед собой остановившимися глазами. Может, слушала свою боль, может, вспоминала свою жизнь, может, уже прощалась, ожидая близкого часа своего. Фельдшерица оставила все, что могло помочь или хотя бы облегчить; баба Лера сама делала уколы, и после третьего Анисья, наконец, уснула. Спала спокойно и крепко, даже порозовела во сне.

— Идите,— сказала баба Лера.— Передохните, а я посижу.

Грешник долго ничего не мог сказать. Тыкал вздрагивающей рукой в Анисью, разевал рот, но подбородок у него прыгал, и из глотки вырывался какой-то сип вместо слов.

— Человек,— с трудом произнес он наконец.— Зачем мы на свете живем, а? Ради идеи? Чтоб власть удержать? Чтоб правду никто не узнал? Во имя будущего? А настоящее, что, в землю? Под ноги, в грязь, в навоз, в дерьмо?.. Помню, когда молодым дураком был, нам кричали: «Вы — кирпичи будущего!» А мы и гордились, недоумки, не соображая, что из кирпичей будущего сегодня и свинарника не сложишь.

— Вы не правы, нет, не правы. Бывают, знаете, в истории периоды, когда поколения обязаны работать, бороться и страдать во имя будущего всего народа.

— Да они-то тут при чем? — с болью выкрикнул он.— Мы ведь во имя светлого будущего темные войны вели. Как дикари какие: чей бог лучше. Разве не так оно, если без громких слов, а? Кричим: прогресс, прогресс! А весь наш прогресс — железяки с проводами. А вокруг чего только не натворили: и вранья, и доносов, и подлостей, и каторгу восстановили пострашнее царской, и труд подневольный за палку на трудодень, что, не так, может? И ничего святого уж нет, и в кровище все да в грязи по колени: это Нюша — чистая, а мы — нет. Потому нет, что она по совести жила даже на каторге, а мы приказы исполняли. Всю жизнь мы с вами приказы исполняли, а она — что совесть ей велела. Будущее, говорите? А что это такое — будущее? Приказали нам насчет будущего, вот мы и... А мне вон объяснили, как ради всеобщего равенства, братства да свободы гильотину изобрели.

— Не сердитесь,— вздохнула баба Лера, убеждая себя, что не хочет спорить, а на самом деле едва ли не впервые поняв, что у нее нет более аргументов.

Трудно, ах, как трудно сдавалась Анисья своей последней болезни. Она не привыкла болеть, она с цветущей, тугой своей юности на всю жизнь вынесла железное правило, что болезнь есть смерть, и из последних сил не принимала, не признавала, воевала с ней, пугаясь собственной слабости, нарастающей с каждым днем.

— Нет-нет, я ничего, ничего,— бормотала она.— Я встану, встану сейчас и на работу, куда велят...

— Привяжу,— сурово говорил Трохименков.— Ей-богу, ремнем к кровати привяжу.

А потом свыклась. Лежала тихо, спокойно, благонравно, ласково глядя на мир добрыми, отогретыми глазами. Слушала себя, свое большое, безмерно усталое тело, в котором теперь уж навсегда поселилась задышливая потная слабость и тайная, лишь на время приглушенная боль, но больше не боялась ни боли, ни слабости. Только не хотела разговаривать, слушать и отвечать: на этом, втором этапе болезни ей вполне хватало личных ощущений, которые она изучала дотошно, с крестьянской неторопливостью и основательностью.

— Что это она все время молчит, Калерия Викентьевна?

— Боюсь этого,— шептала баба Лера.— Господи, если бы веровала я!

— Думаете?

— Прощается. Пока — с собой, поэтому и молчит. Потом с нами прощаться начнет, тогда и заговорит.

Анисья и вправду вскоре заговорила: баба Лера многое повидала, и в механике ухода человека из жизни разбиралась безошибочно. Начался третий, последний этап этого ухода: Анисья была особо оживлена, много говорила, с удовольствием отвечала и бесконечно расспрашивала. А спала совсем мало, будто уже жалела тратить время на сон и отдых.

— Кажется, полегчало ей, Калерия Викентьевна? И румянец появился, и настроение вроде. А?

— Уходит она,— с беспомощной тоской сказала баба Лера.— Ничего-то вы не желаете понимать, мужчины. Ничего. Боитесь правды, что ли?

Он вдруг понял, осознал не разумом, а всем существом, что Анисье более не встать, что она и вправду уходит от них, что равнодушное и неотвратимое

время с каждым тиканьем ходиков приближает ее уход и его одиночество, и замолчал. Молча сидел рядом с умирающей, молча подавал ей воду, молча топил печи, укрывал от сквозняков и неотрывно глядел. А она, улыбаясь ему, расспрашивала обо всем на свете, будто и не собиралась помирать, будто и летто ей совсем-совсем еще немного было, будто ответы, которых требовала она, могли когда-нибудь пригодиться. Так спрашивают дети, утоляя не внезапно возникшее любопытство, а жажду знаний, запасаемых на всю последующую жизнь.

— А чего это люди на разных языках говорят, Леря Милентьевна? От разных обезьян произошли, что ли? Или и вправду бог им в наказание все спутал?

И целый вечер баба Лера рассказывала о происхождении человека и человечества, о расах и народах, о языковых семьях и нациях. Больная слушала жадно и активно, перебивая вопросами, стараясь изо всех сил понять объяснения своей дорогой сестрички-каторги.

— Ты бы отдохнула, Аниша. Подремала бы.

— Нет-нет, погоди, тут понять мне надобно. Стало быть, это чего же такое получается? Получается, вроде мы с немцами как бы братья двоюродные?

— Вроде бы так, Аниша. Конечно, это весьма упрощенное представление, но в сути...

— Вон оно что,— Анисья тяжко вздыхала и горестно качала несуразной лошадиной своей головой.— А ведь люди, они вроде как дети, Леря Милентьевна. Свой своего, значит, убивает и калечит, и в лагеря за колючку сажает. Ах, дураки-то какие, ах, дураки!..

Успокаивалась она либо поздним вечером, либо окончательно обессилев. Соглашалась уснуть, принимала лекарства; баба Лера перестилала ей постель, укутывала, целовала, прощаясь до утра, а Анисья непременно крестила ее в спину. Делала она это втайне, но Калерия Викентьевна знала об этой тайне и ночами тихо плакала в подушку. Но еще до этого они с молчаливым Грешником пили чай на кухне и говорили шепотом, настороженно прислушиваясь к дыханию умирающей.

— Ну зачем, зачем эта любознательность? Может, боль она в себе глушит? Или — страх?

— Нет в ней никакого страха. Людей она на земле оставляет, понимаете? А они — бестолковые да несмышленые, за ними присмотр нужен, а то опять бед натворят. Это же русскую каторгу пройти надо, чтобы дорасти до такого понимания. До такой личности.

— Оставьте, при чем здесь каторга.

— При том,— строго отрезала баба Лера.— Не будь каторги, не было бы и Достоевского. Вот он каков, русский вариант: один — за весь мир. А вы говорите — страх. Да, страх. За всех страх, только не за себя.

— Устает она. Затрачивается слишком.

— А разве существует способ страдать о людях и — не затрачиваться?

Гордо спрашивала баба Лера, гордясь не только названной своей сестрой, но и, как всегда, духом человеческим. Его безграничной жаждой добра, его милосердием, его способностью сострадать каждому и страдать за все человечество. Дух этот ныне вдруг возгорелся в Анисье, но горя, сжигал и ее самое, и Калерия Викентьевна ясно представляла, что дни Аниши сочтены, и слезы беззвучно и совсем уж независимо от нее текли и текли, но только по ночам, а днем баба Лера была заботлива, строга и хлопотлива, находя силы не только делать все, что требовалось по хозяйству, не только терпеливо и обстоятельно отвечать на бесконечные детские «почему», но и улыбаться.

— А чего так, Леря Милентьевна, что каким народам теплынь, а какие мерзнут, будто зеки? Я понимаю, хлебушек, он трудов спрашивает, его ростить надо, убирать да беречь, а потом уж делить. А тепло? Тепло ведь от солнышка, так и должно быть его всем поровну, а то получается, что совсем не поровну, и кто же это так людей обидел?

Баба Лера терпеливо объясняла, что земля круглая, что движется она вокруг солнца по эллиптической орбите, что земная ось наклонна. Говорила о морях и океанах, которые сберегают тепло, о постоянно дующих пассатах

и муссонах, о ледяных шапках Арктики и Антарктики, о циклонах и антициклонах, о Гольфстриме, определяющем погоду всей Европы.

— Эта могучая река несет нагретые воды с юга на север, и Мурманск — порт незамерзающий, хотя и расположен он за Полярным кругом. А само течение, эта морская река, отдав нам тепло, поворачивает назад...

— Вот бы по ней прокатиться. По теплой этой речке.

— Мир поглядеть хочешь, Аниша?

— А чего его глядеть? Мир как мир, везде люди. Нет, не его глядеть надо, а себя казать. Мол, живы еще, хоть и тепла нам куда как поменьше вашего достается.

Последнее время она часто говорила о тепле: стыла изнутри. И хотя Трохименков топил сутки напролет, а баба Лера поила чаем, горячими настоями, клала грелки к ногам и укутывала, Анисья медленно коченела.

— Не текут во мне Гольфстримы мои, сестричка-каторга. Пальцев не чую ни на ногах, ни на руках.

К тому времени прошли обильные снегопады, мерзлую землю и льды надежно укрыло, и по Двине пробились мотонарты с доктором. Доктор был немолод, что понравилось больной, внимателен и разговорчив. А осмотрев Анисью, сказал Калерии Викентьевне с глазу на глаз:

— Не обманывайтесь.

— Значит...

— Чудес не бывает. С абсолютной точностью предсказать не берусь, но больше чем на месяц ее не хватит. А в больницу везти — не довезем, да и, признаться, смысла не вижу. В больнице помирать трудней.

Доктор уехал. Анисья долго лежала молча, строго вытянувшись, словно уже шагнув в иной строй. «Поняла,— с болью думалось бабе Лере.— Все поняла, что доктор сказал...» Они с Трохименковым сидели по обе стороны умирающей, боясь обронить слово, вздохнуть, скрипнуть стулом.

— Выди, Васенька,— вдруг тихо сказала больная.— Выди, мне с сестричкой поговорить надо.

Грешник тяжело поднялся, пошел, ссутулившись. У дверей остановился и не просто оглянулся, а всем телом повернулся к Анисье.

— Иди, Васенька,— повторила она, и две слезинки сбежали по морщинистому лошадиному лицу. Подождала, пока он вышел, пока закрыл дверь.— Не хотела тебе говорить, да в смертное свое, дура я старая, нож наточенный спрятала. Обряжать меня станешь — найдешь.

— Какой нож, Аниша?

— Чтоб потом не гадала, скажу. Васеньку я зарезать хотела, любовь свою последнюю и единственную.

— Аниша, ты что...

— Молчи, сестра, теперь мой час. Фальшивый он человек, это я сразу почувствовала, ну а мало их, что ли, фальшивых этих? Не ломай, говорю себе, Анисья, голову свою, и так она у тебя слабая. Ну, и не ломала. А тут шуточки наши да прибауточки, и понять я не поняла, как влюбилась, будто обварилась. И стала я видеть вроде как по-иному, и слышать, и глядеть, и вдруг будто пронзило меня, сестрица, будто пронзило. Поняла я, кто он есть, и решила: не жить ему больше. Ночью нож точу, а сама реву да про себя вою. Точу, реву да вою...

— Родная моя, милая моя...

— Молчи! — Вторично и еще более строго оборвала умирающая.— То последнее испытание мне было. Всю ночью слезьми умывалась и очень жалела, что молиться боле не могу, что позабыла я все молитвы. Но точно знала, что то испытание есть последнее, и потому понять мне его надобно. И поняла: нельзя человеку божьи права себе забирать, не имеет он на это никакого такого права. Нет у него дозволения то отымать, что господь даровал: ни здоровья, ни любви, ни свободы, ни тем более жизни самой. Не наше это дело, сестра моя единственная, суд да расправу чинить, не наше. Вот что поняла я в ту самую свою страшную ночь, а чтоб не позабыть как-нибудь спьяну, в приготовленное смертное нож завернула. Мол, коли накатит, так непременно же смертного коснусь того, в чем перед богом предстану, и — опомнюсь. Потому и тебе не

скажу, кто он такой есть, Васенька мой. Ты уж прости меня, дуру несчастную, а только не тебе судить, сестричка-каторга. Прощению нужно учиться, а не злобе. Казнить и зверь может, а вот простить — только человек. Людями мы с тобой на каторге жили, людями и на свободе помрем, сестричка ты моя родимая, Леря Милентьевна...

Через три дня после этого разговора баба Лера, проснувшись раньше обычного, встала и споткнулась о лежавшее подле кровати уже холодное тело. Как смогла Анисья сама подняться с постели и добрести до сестрички-каторги, опуститься на колени возле ее ног да еще, видать, успеть бога за нее помолить, навсегда осталось без ответа. Впрочем, он никому и не требовался, этот ответ.

— Вот и все,— тяжело выдавил Грешник и пошел стругать доски.

Выстругал, сколотил гроб — большой, неуклюжий, несуразный — и начал долбить могилу. Трое суток он вырубал ее в звонкой, насквозь промерзшей земле, и трое суток повторял эти три слова. Ничего не ел: менял мокрую рубаху, пил чай и снова шел долбить. Спал совсем мало, а баба Лера совершенно не сомкнула глаз, а сидела подле дорогой своей Аниши, изредка в забытьи падая лбом на криво струганную боковину гроба.

— Вот и все,— сказал он, вернувшись засветло, и она поняла, что могила, наконец, готова, и что завтра им предстоит положить в нее Анисью.

Трудно и долго хоронили они ее. Пока Грешник строгал доски и сколачивал гроб в зале, баба Лера омыла и одела свою сестричку, переврятав нож в свое смертное. Они уложили тело, и Трохименков ушел долбить могилу. А потом вернулся, сказал: «Вот и все», и ночь просидел подле покойницы, чуть подремав перед рассветом. Молча выпили чаю, Трохименков подтащил к дому санки, вернулся, примерился...

— Не пройдет он. Да и не вытащим вдвоем.

— Как же?

— По отдельности придется.

— По отдельности?..

— Не донесем. И в сенях не развернемся.

Снова вынули Анисью, положили на стол. С трудом, с великой натугой выволокли неуклюжий гроб, установили на санках, и после этого Грешник на руках вынес закоченевшее тело. Уложили, помолчали, попрощались, закрыли крышкой и, надрываясь, поволокли к могиле сквозь снега, которые намело с того страшного дня.

Пока собирались, пока тащили санки с покойницей в тяжеленном, слишком уж большом для нее гробу, пока опускали этот гроб, задыхаясь, хрипя и падая, в могилу — а гроб вырывался из окоченевших рук, скользил боком, бился торцами, и слышно было, как гулко стукается о его стенки мертвое тело,— пока засыпали мерзлыми комьями пополам со снегом, наступил вечер. Сил уж не было совершенно, и баба Лера рухнула в снег. Поднялся ветер, гнал поземку, и слезы стыли на щеках. Трохименков угрюмо курил рядом.

— Пойдем,— она с трудом поднялась.— Пора.

— Что? — он вдруг бросил окурок, снял шапку. Ветер рвал волосы, забивал снегом: казалось, Грешник седеет на глазах.— Что такое жизнь человеческая? Путь от колыбели до гроба? Неправда, это среди людей путь. Это жмурки, потому что каждый идет своим путем и не замечает никого, и не сворачивает, и все друг друга толкают, а то и бьют, а то и насмерть забивают. Все — вперед, все — скорее, все — без глаз, а потому себе все, под себя, ради себя. И вот среди этих слепых и ослепленных, среди сует, среди путей нечеловеческих редко-редко попадается дорога, по которой прошел не волк, не шустрая мышка пробежала, и не серая крыса, а — человек. Били его, оскорбляли, обижали, всего лишили, а он шел своей дорогой и ни разу с нее не свернул. Никого не предал, никого не продал, всем раздавал сердце свое, и тепло свое, и хлеб свой, и труд свой, не думая не только что о награде — о себе даже не думая. Где же они рождаются, такие люди? Кто научает их любить всех, помогать всем, жить по закону: «все отдай»? Никто этого не знает и не узнает, никогда не узнает, потому что такие люди и есть единственное чудо в нашей жизни. И когда уходит оно, чудо это великое, когда

прощаешься с ним, навсегда прощаешься, тогда только и понимаешь, что утратил, что потерял на веки вечные. Человека потерял, без которого и солнце без солнца, и жизнь без жизни.

Трохименков замолчал, по-прежнему не чувствуя ни ветра, ни снега, ни холода. А они были — и ветер, и снег, и холод. Они выли в ледяном том безлюдьи, остужая кровь у живых и занося легким саваном могилы мертвых. Но боль, которую ощущали сейчас живые, была столь ослепительно огромна, что они не чувствовали и не могли чувствовать ничего, кроме боли. Даже холода.

— Мы стали злые,— сказал он, вздохнув и горестно покачав головой.— Мы забыли... Да не забыли — мы похерили самую главную правду человеческую: злом нельзя, невозможно злом истребить зло. Мы учим не состраданию, а злорадности, не милосердию, а жестокости, не прощению, а отмщению. Мы сеем зло, а говорим, кричим даже, что творим добро. Все вскружилось в нашем мире, замутилось и вспенилось, и души наши, как прокисшее пиво. А ее душа была чиста, как родник. Но не припасть нам более к этому роднику, ибо и родники иссякают. И от злобы, от ненависти, от слез и страданий все родники вскоре превратятся в Мертвые моря, и мы помрем от жажды на их берегах и даже утопиться не сможем. Ведь не высыхают же слезы наши, не испаряются, слышите? Они стекают в Мировой океан, и копятся там, и растут из века в век, пока не зальют всю землю. Прощай, моя Нюша, прощай Анисья Поликарповна Демова, прощай, сестра наша праведная. Со мной ты будешь, покуда не уйду я вослед за тобой.

Он грузно опустился на колени, и баба Лера молча опустилась рядом. И так они стояли долго, склонив головы над свежим могильным холмом, уже заметенным мягким, неправдоподобно чистым снегом. Потом Калерия Викентьевна с трудом поднялась, положила руку на плечо Грешника:

— Пора.

Назад брели молча, в полной тьме, волоча за собой санки. Дорогу перемело, вокруг ничего не было видно, кроме сплошной стены снега и ветра, и они чудом не сбились с верного направления. Вышли к береговому порядку и оттуда долго пробивались к себе. В свой опустевший, непомерно большой и такой тихий отныне дом.

Было холодно. Истопленная ранним утром печь остывала, ветер выдувал остатки тепла, а сил уж не осталось. Ни сил, ни желаний, и они решили не разжигать огня даже для того, чтобы разогреть еду. Помянули, чем бог послал, стараясь поставить на стол то, чего касались руки Анисьи: ею собранные грибы и ею выращенную капусту; картошку, которую она старательно окучивала, и огурцы, которые аккуратно поливала, как когда-то велела маменька. И даже водка была из ее тайничка в дровяном сарае.

— А стоит ли...

— Стоит,— отрезал он.— Не бойтесь, не затрясусь. Нечему во мне трястись.

Он выпил много — два граненых стакана, и Калерия Викентьевна боялась, что ему непременно станет плохо. Но он даже не опьянел: пил, скрипел зубами и плакал.

— Лечь вам надо,— тихо сказала она.

— Что?..— он трезво, даже зло глянул в глаза, впервые обращаясь на «ты».— Помнишь, при первой встрече, когда председатель паспорт потребовал, заорал я, что не Трофименков я, а Трохименков, что хер, а не фук, что... Знаешь, почему закричал? Тебя испугался. Испугался, что вспомнишь вдруг, что догадаешься, что вычислишь: ты же не Нюша моя, простая душа. Нет, не встречались мы в жизни с тобой, Вологодова, и это, наверное, тоже счастье мое. Потому что никакой я не Трохименков, а Трофименко Василий Егорович. Это ж как свою жизнь надо прожить, чтоб из собственной фамилии буквы повыбрасывать ради того только, чтоб на случай какой не нарваться! Чтоб из проклятой жизни своей ограбление могил в биографии выпятить как... как оправдание, что ли. Или — объяснение.

Как сквозь туман, как сквозь густую пелену прорывался голос в сознание Калерии Викентьевны. Даже не в самосознание прорывался, а где-то рядом с сознанием, не трогая его, ибо сознание бабы Леры было тогда переполнено

небывалым горем. Анисьей было заполнено оно сверх всяких краев, трагедией расставания и трагедией собственного одиночества, и слова, которые отрывочно доносились до нее, она еще не осознавала, не воспринимала, не связывала воедино. Там она еще была, со своей Анишей, по ту сторону. И спросила не из любопытства, не для поддержания разговора, а словно самой себе на что-то отвечая. На непрозвучавший вслух вопрос.

— Что могут оправдать развороченные могилы наши?

— Ничего не могут, ничего, верно говоришь. Но — оттягивают, просто оттягивают, это ты понимаешь, Вологодова? Знаешь, лошадям раньше губу веревкой перекручивали, чтоб одной болью другую боль оттянуть. Ту, которая и есть самая главная. Вот и я одним злодейством хотел другое... Святотатство, говоришь? Сперва я неосознанно как-то про свое святотатство рассказывал, а потом ты подсказала, юнца того вспомнив, что за иконами в церковь залез. И я уже сознательно про осквернение могил плел, уже с удовольствием даже, уже завлекательно... А она — жалела. Меня жалела. Жалела она меня. Нюша моя, слышишь, Вологодова?..

Он замолчал, однообразно и тупо раскачивая тяжелой от горя и хмеля головой. Он впервые за все прожитое совместно время называл ее не по имени и отчеству, а только по фамилии, называл нарочно, с вызовом, будто подталкивал к догадке, к какому-то открытию, которого желал и которого боялся. Но баба Лера все еще была на другой стороне, между ним и ею лежала бездонная и навеки, до скончания дней настежь распахнутая могила Анисьи, и ничего-то не слышала и понимать не желала временно оставшаяся в живых последняя сестричка-каторга. Трохименков (или — Трофименко: кто его теперь после смерти Анисьи мог понять?) подождал, покачал головой и, привстав, передвинул лампу, чтобы свет ее не падал на его лицо. Ушел в темень, укрылся и вдруг незнакомым железным голосом выкрикнул из той тьмы:

— Шаг влево, шаг вправо считается побегом, конвой открывает огонь без предупреждения! Первая пятерка пять шагов...

Калерия Викентьевна медленно, точно просыпаясь, подняла голову. Вгляделась в темноту, как в прошлое свое.

— Охранник я,— голосом Трохименкова сказало это прошлое.— После могил тех вызвали и — в охрану. Сперва просто конвойным был, потом училище осилил, до начальника лагеря и звания майора дослужился, три курса заочного юридического успел...

Молчала баба Лера. И он замолчал, оборвав фразу. И никто не знал, сколько длилась она, эта пауза, но оба почувствовали, как беззвучно вошла Анисья. И стала над бабой Лерой.

— Я уйду, уйду, уйду сейчас,— глухо забормотал Грешник.— Только позвольте последнее слово. Не верил я, что слова душу жечь способны, будто раскаленные камни, что избавиться от них твое же нутро требует, что жить невозможно, доколе не покаешься. Мы без бога жить попробовали, вот уже полвека без бога, а что вышло? Себя иссушили, души собственные изгадили, сами себе грехи отпускать наловчились, и процесс духовного разложения нашего уж и грань перешел. Все, добезбожничались мы... Прости, Нюша моя, прости, Вологодова, нет у меня никакого права ни обличать, ни тем паче — судить, но о себе доложить обязан. Не могу не доложить, сил больше нет...

— Вы и представить не можете, до чего же страшной была та ночь,— тихо рассказывала мне баба Лера, пережив и ту ночь, и ту зиму, и доживая последнее лето свое.— Я материалистка и атеистка, я не верю ни в чудеса, ни в чертовщину, но тогда я физически ощущала, что за моей спиной стоит Аниша. Что восстала она из гроба и пришла ко мне, к своей сестричке-каторге, чтобы мне легче было вынести признание бывшего майора Трофименко, и чтобы нашла я в себе силы поступить так, как она мне завещала. И никакой не могло быть более альтернативы, а я... Я твердо знала: не одна я сейчас и не останусь одна потом...

Не шевелясь и не отводя глаз баба Лера слушала тогда ушедшего во тьму, за ламповый круг Грешника. Слушала, вцепившись в край столешницы изо всех сил.

— В пятьдесят третьем ведь не просто Сталин умер, не великий вождь всех времен и народов; в пятьдесят третьем мир рухнул. Тот мир, для которого меня создавали, для которого бога еще раз распяли, отреклись от прошлого своего, могилы разграбили, деревню уничтожили, в новых крепостных мужиков превратив без права выезда, без паспортов, без денег, без дня вчерашнего и без дня завтрашнего. Все оказалось — зря. Все жертвы, отречения, подлоги, процессы, подлости — все зря, ошибочка вышла, напрасно все. А ведь я два десятка лет в лагерях, я такого насмотрелся, по такой кровище походил, столько сам натворил, что не мог я, не мог ошибкой это все признать. Ведь я же верил, что только так и надо, что вы все — заклятые враги наши, что кругом заговоры, что... Э, да что говорить: я хотел верить, я должен был верить, чтоб самому с ума не сойти. А тут лагеря закрыли и меня — из органов на улицу. А у меня — дети. Большие уже, мальчик и девочка, школу кончают: они ведь тоже думали, что прав их отец, что в зоне одни злодеи сидят. А им Двадцатый съезд да выступление Хрущева. И начали они меня стесняться. Я специально поглуше и подальше город выбрал, в ВОХР при заводе устроился, тоже прошлого своего стесняюсь, боюсь его: вдруг кто узнает, вдруг на вчерашнего зека из своего лагеря ненароком нарвусь? Вот тогда я всей семье и фамилию сменил, чтоб совсем с прошлым нити оборвать, обрадовался, когда удалось в милиции буковки поменять, фук на хер, а дети этого не приняли. Ну, совершенно, абсолютно не приняли: трус, говорят, ты, подлый трус. То есть того, что я тогда пережил, врагу не пожелаю. Тут еще жена померла, дети из дома выживают, в глаза трусом зовут, и стал я пить. В другой городу уехал, могильщиком устроился — это по первой, значит, специальности — и пил беспробудно. Пил, пил, пил. И одна мысль стала появляться, завелась во мне, как червячок, и ну — точить, ну точить... Днем и ночью, ночью и днем. Пройди, говорит, сам сквозь то, сквозь что ты людей прогонял. Тюрьмы пройди, этапы, пересылки и лагеря, да нары да шмоны. Ну, а законы-то я знал, и подобрать себе преступление было для меня нехитро. Нет, не убил, не ограбил, но ровно на пять лет себе статью потянул. И верь — не верь: с радостью на нары поехал.

— Не знаю, что бы было со мной, как бы я поступила, если бы не Аниша,— привычно потряхивая головой, снова и снова вспоминала баба Лера тем последним летом.— То ли от времени, что прошло, что минуло, то ли от возраста, то ли от смертного ухода Аниши моей, а только удивительно я помягчела. Жалела я тогда всех. Людей, птиц, зверей, Анишу, Грешника этого. Так жалела, что готова была встать, обнять его и вместе поплакать над тем, что же с нами-то сделали. И только подумала так, тут же и почувствовала, как Аниша моя руки свои кладет мне на плечи. Вы не поверите: до сей поры ледяной холод мертвых рук ее ощущаю. И до сей поры голос ее звучит: «Сиди, сестричка-каторга, и подумай сперва. Мне на прощание любовь силы дала, а что тебе твой Алексей скажет?..» Думаете, мистика? Нет, просто в меня Аниша перешла после смерти своей. И мне волю свою диктовала. И даже не слышала я, что он там еще рассказывает. А он о дочери своей говорил...

— ...Только на нарах и понял, что никого я не любил. Ни жену, ни сына, ни людей вообще: все во мне гробокопательство вытравило. И ведь справедливо: в том возрасте, когда красоте удивляются, стихи наизусть учат, песни поют, цветы девушкам подносят, я во прахе ковырялся. И совсем не духовные, совсем иные ценности познавал. Обратила внимание, сколько цацек люди на себя навешивать стали? Чем грубее да темнее, тем больше на нем золотишка да камешков, а ведь золотишко-то это — из могил, если вдуматься. Оттуда, Вологодова, мы старые ценности извлекли, от которых гордо отрекались когда-то, из золота сортиры строить хотели. Да. Но — отвлекся, опять о ненависти заговорил, а ведь хотел — о любви. И вот тогда, там, на нарах, понял я, что если и люблю кого, так только дочку свою. И, поняв это, впервые мечтать стал, как освобожусь, как к ней приеду, как детишек ее, внучат своих, нянчить буду. Ну и сбылись мечты мои, мечты ведь всегда сбываются, как мы в песнях поем.

Освободили меня, приехал я в тот город, где дочка моя жила, рано приехал, в седьмом часу, что ли. Все боялся, что на работу дочка уйдет, что опять ждать мне. Почти что бегом бежал. Ткнул дверь, чтоб не звонить, чтоб сюрприз ей: «Здравствуй, мол, доченька...» Отворилась дверь эта, и вошел я... Как тебе объяснить, Вологодова, куда я вошел? В склеп, в смердение, в тлен. Онемел, обеспамятел вроде, а на меня из комнаты что-то голое ползет, синее, рыхлое, пузатое, будто жаба. Голова большая на тонкой шейке качается, волосики сбиты, слюни до полу и рубашонка к горлу съехала. Ужас тут меня охватил: понял я, что это внученька моя, которую я ласкать мечтал да лелеять, ползет и сипит что-то нечеловеческое, нечленораздельное. А из глубины за нею и сама дочь моя появляется. Думаешь, узнал я ее? Я догадался, а узнать не мог. С перепою, опухшая, в одной рубашке мятой да грязной, да и сама нечесаная, немытая, руки дрожат. «Что,— говорит,— захотелось? Так гони бутылку, и все дела...» Родному отцу себя за пол-литра... Это кто же так меня покарал, кто? Бог? Жизнь? Природа? Черт с дьяволом? Не знаю, но убежал я оттуда. На край света решил уйти и сдохнуть там, как собака. Да отсрочилось все ненадолго: Нюшу встретил. Единственную радость за всю свою жизнь...

Он вздохнул, понуро покачал головой и молчал долго. Потом остаток водки допил — торжественно, будто причастие. Поставил стакан, спросил, не глядя:

— Можешь ты простить меня, Вологодова?

И опять Калерии Викентьевне очень захотелось встать. Встать, погладить седую голову этого несчастного, живьем убитого человека, сказать, что прощает, что никто не виноват, что судьба... Но опять ощутила на слабеньких, хрупких плечах своих ледяную тяжесть мертвых Анисьиных рук и не смогла встать. Ни встать, ни заговорить, ни прощать: прощение от ума недорого стоит. И баба Лера, строго подобрав сухие старческие губы, сурово глядела мимо.

— Не можешь, значит.

Он вздохнул, тяжело, изо всех сил упираясь обеими руками в стол, поднялся, тяжело пошел к выходу. Долго одевался там, шурша одеждой: баба Лера сидела, как изваяние, по-прежнему сурово глядя перед собой.

— Ну, прощай, Вологодова. Не поминай лихом...

Он вдруг замолчал, будто поперхнувшись словом. Будто все мутное, что скопилось в душе его, со страху, что на мороз выгоняют, со всей силой в голову бросилось. И за спиною бабы Леры стоял сейчас не раздавленный горем и жизнью человек, а беспощадный, как холод, майор Трофименко.

— Грешник, значит, я, грешник? А вы — несчастные, да зато чистенькие, как стеклышки? Не-ет, не выйдет! Всякое действие свою отдачу имеет, как выстрел. Кто нас такими сделал, а потом — грешниками обозвал? Да вы же сами, вы, неистовые, вы, вы, вы! Воздастся вам, слышите? Ох, как воздастся. Не только за всех Анисий в мире, но и за всех нас. За весь народ, который поверил вам, как Нюша моя своему Митеньке. За весь народ!..

Хлопнула за спиною дверь, а Калерия Викентьевна еще долго сидела, не шелохнувшись. Так долго, что начали стыть ноги в валенках, что поняла, что утро на улице, что уже остыла изба, и что пора топить печь. Тогда встала, ощутив помимо собственного сознания, что отныне начинается последний абзац ее биографии.

— Выгнали?.. Выгнали в метель, в мороз, в безлюдье и бездорожье больного человека? Калерия Викентьевна, дорогая наша баба Лера, я не могу в это поверить. Вы наговариваете на себя, вы сочиняете... Ведь вам же несвойственна жестокость!

В последнее лето баба Лера выступала крайне редко, а куда чаще сидела на солнышке, как когда-то сидела Анисья, пытаясь согреться после всех зим своих. Неистовое пламя семнадцатого года догорало в иссохшем старом теле. Калерии Викентьевне все время хотелось тепла, и она стремилась каждую минуту впитывать в себя солнце, точно надеясь унести с собою нежность его

лучей. После всех потерь и всего отпущенного ей горя, после той страшной зимы, унесшей Анишу и прогнавшей Грешника, после непонятно как прожитых ею трех месяцев одиночества, равных трем столетиям, как мне почему-то представлялось, Калерия Викентьевна стала еще суше, еще меньше, еще задумчивее. Ходила, правда, легко, но мы все понимали, сколь тяжело дается ей эта упрямая легкость. Худые до прозрачности руки ее дрожали, и она, твердо произнося извинения, ела теперь одна, не желая показывать свои немощи. Безостановочно дергалась седая голова, и я могу себе только представить, сколько труда и стараний ежедневно требовала от бабы Леры подчеркнутая аккуратность прически, из которой никогда не смел высунуться ни один седой волос. Устав или просто забывшись, она, случалось, начинала шаркать ногами, и только старческая спина ее, вынесшая неимоверную по тяжести жизнь, оставалась несгибаемо прямой, будто Калерия Викентьевна Вологодова и до сей поры гордо несла невидимое нам знамя.

— Жестокость, вы говорите? Жестокость бывает только по отношению к безвинным. К детям, женщинам, зверям. По отношению к врагам есть только беспощадность.

— Но ведь он же наверняка замерз!

— Возможно,— вдруг лицо бабы Леры стало строгим и торжественно отрешенным, как лики на иконах.— Возможно, погиб. Но скорее всего он все еще бродит среди людей, моля о смерти, как проклятый господом Агасфер.

Больше я не расспрашивал о той зиме, не вспоминал о Грешнике. Я получил ответ, равнозначный последней точке, и понял, что мне не следует бередить исстрадавшуюся душу никчемным любопытством: Калерия Викентьевна опустила занавес, и бестактно было бы пытаться найти в нем щелочку. Я не расспрашивал, но она сама, непрестанно думая и о той страшной зиме, и об Анисье, и о своем праве судить, часто, хотя и урывками возвращалась к тем дням, и из этих кусочков я составил себе некоторое представление, как смогла старая женщина прожить более трех месяцев в снегах, безмолвии и одиночестве.

— Знаете, у каждого человека есть воспоминания, которых он боится,— как-то сказала она мне.— То ли совестно ему, то ли горько, то ли больно, то ли понять он страшится то, что было когда-то, и что теперь начало вдруг брезжить, как первый луч. И я не святая, и я от одного из таких воспоминаний пряталась даже в лагерях, и только в ту первую ночь своего одиночества перестала пугаться, поборола свое малодушие, все поняла и все расставила по местам.

Так начался рассказ, который почему-то показался мне знакомым. Было ощущение, что я то ли читал нечто подобное, то ли слышал о нем, но вскоре я понял, что Калерия Викентьевна не заимствовала чужой жизни, не пересказывала ее, не занималась плагиатом. Просто сама история государства, в создании которого ей посчастливилось принимать непосредственное участие, была способна на повторы самой себя именно потому, что была новой. Она писалась заново, вычеркивая целые абзацы из себя самой и безжалостно сжигая черновики...

Юная Лера Вологодова в октябре семнадцатого ушла не из отчего дома, а из отчего мира. Естественно, в то обжигающее время обжигающих страстей и обжигающих поступков ей не приходило в голову формулировать, куда и откуда она идет. Было время порывов, и люди принимали решения, куда чаще исходя из особенностей времени, чем из анализа обстоятельств. А Лерочка удалась в мать, а не в отца, и в характере ее универсальным средством решения жизненных коллизий оказался порыв, ибо вся многочисленная родня по материнской линии отличалась именно этим свойством. Именно порыв привел однажды ее мать на Ходынское поле, и испытание оказалось столь тяжким, что Надежда Ивановна Олексина так и не смогла избавиться от ужаса и дала согласие на брак с Викентием Корнелиевичем Вологодовым не от безразличия, а от неосознанной потребности иметь нечто определенное в жизни. Смутные призраки Ходынки не блекли в ее сознании, но она всегда твердо

знала, что рядом есть ясность и воля, спокойствие и разум, и это помогало не только жить, но и верить, что дети ее не получат в наследство апокалиптических видений, выпавших на ее долю. Но дети — не только Лерочка, но и Кирилл — пошли в нее, в олексинскую породу, в которой романтическое начало заведомо перевешивало начало практическое, хотя и в том многочисленном клане встречались почти хрестоматийные исключения.

Да, Лерочка Вологодова — мать очень скоро обнаружила это — оказалась Лерочкой Олексиной куда в большей степени, чем раздавленная Ходынкой сама Надежда Ивановна, и стремительный уход ее за Алексеем окончательно утвердил приоритет той крови, которая бурлила и бунтовала на базе спокойной, разумной, упрямо последовательной отцовской натуры. В конечном счете в седой бабе Лере все переплелось, все уравновесилось, но в отчаянной полудевочке-полуженщине Лерочке в те буйные времена буйствовала, ликовала и торжествовала олексинская порода.

Лера всегда помнила о родных, оставленных так внезапно, а особенно — о матери, которую не только очень любила, но и очень жалела с детства, едва поняв, что такое жалеть. Помнила, любила, жалела и — никогда не писала. Никогда, ни одной строчки, даже узнав, что ее отца, арестованного по подозрению, по подозрению же и расстреляли. Не писала не только потому, что горячий ветер гражданской войны рвал из рук, сушил, а то и обугливал любую бумагу; нет, не писала она по той причине, что была куда более Олексиной, чем Вологодовой, а Олексины не обладали потребностью писать, куда бы ни заносила их судьба: в Америку, Сербию или на Кавказ, в Болгарию или в Ясную Поляну под городом Тулой. Ничего еще не зная об этой странной фамильной черте, Лерочка тем не менее испытывала непреодолимое отвращение к письмам. А гражданская война мотала ее по всей России из конца в конец и из года в год, не давая опомниться и оказавшись длиннее собственного календарного срока, поскольку Алексею пришлось долго и мучительно гоняться за басмачами. А когда все было кончено, и последний курбаши положил оружие к ногам победителей, когда ее Алеша в дополнение к революционному оружию получил и третий орден Красного Знамени, Лера Вологодова узнала, что ее мать арестована, а где именно содержится в настоящее время, неизвестно.

Шли двадцатые годы. Кончились бои, начинал угорать нэп, начала приходить в себя деревня. Работники ЧК к этому времени приобрели не только кожаные тужурки, но и многозначительную немногословную усталость.

— Разберемся. Не беспокойтесь.

— В чем разберетесь? Моя мать — душевнобольной человек. Она пострадала в Ходынской катастрофе...

— Три дня. Приходите через три дня. Это все.

И ровно через три дня. Час в час:

— Ваша мать, Вологодова Надежда Ивановна, вдова действительного тайного советника и ярого врага Советской власти Викентия Корнелиевича Вологодова, в настоящее время содержится в Соловецком спецлагере.

— А в чем ее обвиняют?

— Идет проверка. Простая формальность.

— Если это простая формальность, прошу разрешить свидание. Если нужны поручительства...

— Нет необходимости. Свидание, товарищ Вологодова, вы получите. Длительность свидания определяет руководство на местах.

Даже при этой милости сквозь зубы Леру вряд ли допустили бы на острова, если бы не боевая слава Алексея. Прибыв в Архангельск, она по наивности начала было энергично требовать, но уже на третий день сообразила, что ее будут гонять по таинственному кругу согласований и разрешений до тех пор, пока она сама не откажется от заветного пропуска. Никто не говорил «нет», «нельзя», «запрещено»; все улыбались и говорили: «да», «безусловно», «конечно», только за всеми этими улыбками стояло крохотное, ну, совершенно пустяковое «но». То не хватало чьей-то подписи, то поставили не тот штамп, то перепутали дату, то забыли прихлопнуть печатью — и так каждый день. Каждый день хождений, бесконечных объяснений, унизительных просьб, пока

не приехал Алексей. Он прицепил именную саблю, пристегнул подаренные кавкорпуском серебряные шпоры разгромленного под Вапняркой очередного атамана и за четверть часа до отхода парового катера принес пропуска.

— До шестнадцати. До обратного рейса: на ночь посторонним там оставаться запрещено.

Серой тишиной встретили их Соловки. Серыми были стены и камни, серыми были море и небо, серыми были лица и одежды людей, державшихся поодаль, будто боясь переступить некую черту. Потом, через одиннадцать лет, Калерия Викентьевна узнала, сколь реальна эта невидимая черта, узнала, что шаг за нее обычно означал карцер или смерть, но тогда по молодости, по восторженности недавнего прошлого, по еще пульсировавшему в ней ощущению великой победы ничего не поняла. Тем более, что и понять-то не дали.

— Начальник охраны Дегтярев,— как-то не по-армейски представился Алексею совсем еще молодой и совсем уже изможденный человек.— Обязан сопровождать по долгу службы.

— А где же...— начала было Лера в растерянности.

— Гражданка Вологодова ожидает свидания в отведенном для этого помещении.

И они пошли куда-то, но не через Святые Ворота, а вдоль серых суровых стен. А люди, плотно сбившись, продолжали держаться за невидимой чертой, и только одна женщина упорно шла сзади, будто уже преступила эту черту.

— Это сумасшедшая, прошу не принимать во внимание.

Дегтярев так и сказал — «не принимать во внимание»; и через много лет баба Лера отчетливо помнила еще тогда удивившие ее слова. Но теперь она поняла их: в них заключалось предупреждение не верить ничему, что бы ни рассказывала эта, преступившая черту. Не принимать во внимание.

Мать ожидала в маленькой, полутемной, много лет нетопленной келейке с единственным сводчатым окошком под самым потолком. Именно ожидала, потому что встретила не просто стоя, а словно на бегу, словно много часов металась тут по гулким каменным плитам.

— Доченька, спасибо тебе, родная, бог возблагодарит, что не забыла меня...

Прекрасные полубезумные глаза ее, обычно подернутые ужасом пережитого, были ясны и блестящи, и этот блеск усиливал их синеву даже в сумраке полукамеры-полукельи. Она с силой прижала к груди голову дочери, и Лера удивилась этой силе.

— Мы простимся, простимся. Господь услышал мольбу мою...

— Что ты, мамочка, о каком прощании ты говоришь? Алексей узнавал: тебя скоро, очень скоро освободят. Это ведь только проверка, к сожалению, очень затянувшаяся.

— Да, да, безусловно,— мать улыбнулась, сияя удивительно ясными и удивительно синими глазами.— Здравствуйте, мой дорогой похититель девичьих сердец.

Алексей шагнул, щелкнул каблуками, склонил голову к руке. Серебряный звон шпор странно долго звучал в каземате; бабе Лере сейчас казалось, что звучал он до тех пор, пока Алексей не нашел в себе сил оторваться от руки Надежды Ивановны. Пока не сказал:

— Простите меня.

Калерия Викентьевна только теперь поняла, что просил он прощения не за то, что увел из дома дочь, а за то, что вынужден был казнить сына. Не по гимназистке Лерочке серебряно звенели шпоры в глухом том каземате, а по белому офицеру Кириллу Вологодову.

Они о чем-то говорили с матерью, беспрестанно перебивая друг друга, возвращаясь к началу, к дому и детству, и вновь растекаясь во времени. Они обсуждали что-то очень важное тогда и такое необязательное, такое второстепенное теперь, что баба Лера так и не смогла ничего припомнить. Может быть, потому, что вспоминалось ей совсем иное, незаметно прозвучавшее тогда и наполнившееся огромным смыслом сейчас, в конце ее собственной жизни. А пыталась вспомнить, очень хотелось услышать хоть одно слово из тех необязательных, потому что эти необязательные слова говорила живая мама. Но ей

упорно вспоминались слова иные, приобретшие именно сейчас роковой смысл, а тогда пролетевшие мимо счастливой Леры Вологодовой, потому что они были словами неживой матери, а Лера не желала воспринимать маму неживой, но слова, как выяснилось, не заглохли в глухом каземате, слившись с душою и осев в ней навсегда. Живое тогда стало мертвым сегодня, а мертвое — живым, но на то, чтобы постичь эту метаморфозу, Калерии Викентьевне пришлось израсходовать всю собственную жизнь.

— Почему у тебя на пальце чернильное пятно? Так трогательно, словно ты у меня — гимназистка-приготовишка.

— Я сегодня писала письма. Ты скоро получишь их, скоро.

— Мамочка, тебе недолго ждать освобождения, какие письма? Нам твердо обещали, и как только Алеша вернется в Москву...

— Да, да, конечно, конечно,— мать вдруг схватила ее за руку, сжала почти с мужской силой.— Знаешь, я видела поразительный сон. Мне ясно, пророчески ясно представилось, как Кирилл погиб. И будто бы он, мертвый, читает Пушкина. Помнишь: «Сижу за решеткой в темнице сырой, вскормленный...»

Звон клинка и шпор слились в один, совсем несеребряный звон: Алексей вскочил, привычно щелкнул каблуками.

— Надежда Ивановна, разрешите ненадолго покинуть вас,— он довольно чувствительно ткнул сопровождавшего их начальника охраны.— Прошу со мной.

— Я по долгу...

— Перекур,— голосом, не терпящим противоречий, отчеканил Алексей.— Вперед.

И буквально погнал растерявшегося Дегтярева к выходу. Тяжело скрипнула и тяжко захлопнулась рубленная на века дверь. Мать и дочь остались одни, и это почему-то столь озадачило Надежду Ивановну, что она замолчала в некой беспомощной растерянности. А Лере вдруг подумалось, что мама знает не только о гибели сына, но и о ее подробностях, о роли Алексея, и поэтому она торопливо сказала:

— Был слух, мамочка, что... Но только слух, понимаешь? Я, то есть мы с Алексеем знаем, что...

Она сбилась, запуталась и замолчала, до ужаса боясь слов, что сейчас произнесет мать. Слов, которые подтвердят ее догадку.

— Лера, если тебе суждено будет попасть в обезумевшую толпу, подчиняйся ее законам, не раздумывая,— неожиданно сказала мать.— Иди, куда идут все — направо, налево, вперед, назад,— только забудь о собственной дороге, иначе толпа сомнет тебя и растопчет. Заклинаю тебя своей жизнью и своей смертью...

— Мама, о чем ты?

— Законы толпы не ведают милосердия, я знаю это по собственному опыту. Подчиняйся безропотно и незамедлительно, тогда, быть может, ты уцелеешь. Может быть...

— Мамочка, какая толпа? Это все так страшно, все, что ты говоришь...

В разговоре — торопливом, приглушенном — они не заметили, что уже не одни: в келейке стояла та женщина в темном, которая упорно шла за ними, которая, как тогда еще показалось Лере, «преступила черту» и которую сопровождающий их Дегтярев просил «не принимать во внимание». Когда она проскользнула в этот каземат, они не уловили, но сейчас, увидев, что на нее смотрят, женщина крепко прижала руки к груди и шагнула к ним.

— Не надо, Ираида Андреевна,— с тихой мольбой попросила мать.— Умоляю вас.

— Я вытянула жребий, Надежда Ивановна, вы знаете об этом,— тихо, но вполне четко и спокойно сказала женщина.— За то, что я шла за вами, за то, что я обязана сказать, меня убьют. Сегодня же и, думаю, даже раньше, чем...

— Ираида Андреевна!..— громко прервала мать.

— Что? — Лера недоверчиво улыбнулась.— Убьют? За что? На каком основании?

— Убивают в одиночку каждый день. Это делают в подвале под колокольней. Из револьвера. Это совершенно не страшно, потому что вы спускаетесь по

ступеням в темноту, и вдруг — выстрел в затылок. А расстрелы партиями проводят по ночам на Онуфриевом кладбище. Дорога туда идет мимо нашего барака, это бывший странноприимный дом. Мы назвали эту дорогу улицей Растрелли... Расскажите об этом там, это очень важно. Важно, чтобы там — там! — знало об этом как можно больше людей, иначе они не остановятся. И еще. Вы будете получать письма, но знайте, что вашей матери уже не будет на этом свете. И очень скоро они уничтожат всех, и никто ничего и уже никогда не...

Приоткрылась, тяжко скрипнув, дверь: на сей раз они услышали. Но никто не появился, донесся голос Дегтярева:

— Вадбольская, ко мне!

Женщина вздрогнула, точно ей уже выстрелили в затылок. Потом медленно поклонилась, шепнув «прощайте», и тут же вышла. Дверь за нею закрылась, и мать с дочерью вновь остались одни.

— Это несчастный, очень несчастный человек,— вздохнула мать.— Не верь ни единому слову, Лерочка, княгиня Вадбольская помешалась от горя.

И Лера с облегчением не поверила ни единому слову. А баба Лера вспомнила эту женщину, вспомнила слова матери, ее тихий вздох и неожиданную робкую улыбку:

— Ираида. Ираида, если помнишь, от древнегреческого «герой». В родительном падеже.

Кажется, и этих слов она тогда не восприняла. Все в ней было иным, ярким, праздничным, все отторгало этот странный мир серого неба и серого моря, серых камней и серых людей. А тут еще почти сразу вошел Дегтярев и сказал, что вот-вот должен отвалить паровой катер и что свидание окончено.

— Ваш муж ждет у выхода,— и неожиданно странно улыбнулся.— Приезжайте к нам, будем весьма рады.

Они пошли к пристани, опять торопливо говоря о чем-то совершенно необязательном, перебивая друг друга и недоговаривая. Странной Ираиды Андреевны нигде более не было видно, никто к ним не приближался, и из всего это последнего пути Лера запомнила только одну фразу:

— А знаешь, Лерочка, я ведь уже однажды была в Соловецком монастыре. В том злосчастном девяносто шестом: меня привезла сюда твоя тетя Варвара Ивановна Хомякова. Настоятель угощал нас дыней, которую монахи вырастили в оранжерее. Тогда здесь выращивали дыни...— И, обнимая, шепнула: — Помни закон толпы. Помни, мы все завещаем вам эту память.

Уезжали они обеспокоенными. Вернувшись в Москву, тотчас же принялись хлопотать. И не напрасно, поскольку очень большой начальник лично вытребовал к себе «Дело Н. И. Вологодовой».

На следующий день, что ли, пришло письмо от матери: первое после свидания. Лера так радовалась ему, так верила, что вот-вот... Потом с регулярностью в месяц пришло еще два: в последнем мама извещала, что ее вызывал начальник, прибывший из Москвы, вел с нею обстоятельный разговор и сказал, чтобы готовилась к освобождению. А еще через неделю пришло официальное извещение, что Вологодова Н. И. скончалась от сердечного приступа.

— Она не вынесла радости,— плача, говорила Лера.— Не вынесла...

Алексей молчал.

Ох, как нужны были бы эти письма бабе Лере сейчас! Но их изъяли при аресте, и она могла лишь вспоминать. И, упрямо вспоминая их, заставляя себя часами представлять каждую строчку, написанную маминой (в этом она не сомневалась и сейчас) рукой, Калерия Викентьевна спустя полвека открывала много нового. Того, что не могла осмыслить, понять, уловить в то время и что сделалось таким ясным, таким очевидным теперь...

Например, аккуратно указывая разные даты, мама в сущности писала одно и то же, не только не делясь мелкими житейскими новостями, но и строя свои письма так, словно не было у них свидания: в двух письмах упоминался Кирилл, и если в одном мать просто беспокоилась за его судьбу, то во втором почему-то предполагала, будто сын ее в Праге. Лера и Алексей объясняли эту странность особым состоянием Надежды Ивановны, тем более, что при свида-

нии у Леры так и не хватило мужества сказать о гибели брата. Но мама тогда говорила о сне, о строках пушкинского «Узника», а письма об этом молчали. А в одном письме она назвала сопровождавшего их другим именем, но это они сочли опиской. А вот о том, почему ни в одной строчке ни разу не упоминалось о судьбе княгини Ираиды Андреевны Вадбольской, этого Лера и тогда понять не могла, но с неистребимым оптимизмом победившей молодости решила, что мама слишком мало знала эту странную особу и, с почтительным уважением назвав ее героиней, подчеркнула болезненное состояние ее души.

— Конечно, маму они убили,— сказала мне баба Лера.— Заставили написать письма, а когда мы уехали... Я до сей поры вижу чернильное пятнышко на ее пальце. И вполне возможно, что с пристани ее отвели в тот подвал под колокольней. Может быть, вместе с Ираидой Андреевной Вадбольской, которой выпал жребий передать через меня всю правду о Соловках, а я тогда этой правды не поняла.

— И вы истязали себя этими воспоминаниями всю зиму?

— Почему истязала? Спасала. Знание прошлого никогда не убивает, убивает незнание прошлого. Медленно, но неотвратимо, потому что меняет личность человека.

После ухода Грешника баба Лера одиннадцать дней не выходила из дома. Дров было много припасено и в холодной зале, и в сенях, и выходить не просто не хотелось — выходить было страшно. Боязно было выходить, потому что ей упорно казалось, будто у самого порога она непременно наткнется на окоченевший труп шагнувшего в метель, мороз и небытие Грешника. И тогда она стала вспоминать, стала черпать силы из прошлого, потому что сил этих уже не было в настоящем и не могло быть в будущем. И начала жить, и заставила себя на двенадцатый день выйти из дома.

Белым-бело было вокруг. Белым-бело.

Белым стало выморочное село Демово, белым — уцелевшие крыши и даже стены домов, белым — бывшие улицы и переулки, бывшие огороды и дворы, бывшие поля и бывшие луга. Все было до боли белым, но самой белой была Двина, и Калерия Викентьевна до слез всматривалась в окружавшую се белизну.

— Вы не поверите, если признаюсь, что думала тогда не о лежащем где-то под снегом Трохименкове. То есть, конечно же, я не переставала о нем помнить, но, как выяснилось, у человека множество способов как хранения памяти, так и строя мыслей. И, думая о последнем человеке, покинувшем меня, я одновременно думала и о том, что в мире есть две господствующие краски: белая и зеленая. Цвет смерти и холода и цвет тепла и жизни. Даже не цвет — знак. Символ — это точнее. Вот о чем я думала, выйдя из дома на двенадцатый день. И поскольку вокруг господствовал символ смерти, то я успокоилась. Странно? Нет, естественно. Это жизнь всегда беспокоит и будоражит, а смерть заставляет размышлять о вечном.

Размышления о смерти вовсе не предполагают отказа от живого и теплого настоящего: они внутренне готовят человека к неизбежности расставания, они предполагают иную шкалу ценностей, заставляя пересчитывать прожитое по этой новой, всегда несоизмеримо более высокой шкале, где нет места мелким обидам, зависти, жадности, эгоизму, а есть вечные эталоны Добра и Зла, и человек, способный несуетно и бесстрашно заглянуть в собственную смерть, способен и посмотреть на собственную жизнь с иных высот. И тогда его не угнетает ни одиночество, ни ужас близкого конца: тогда страх переплавляется в бесстрашие, а мысли приобретают простоту и ясность. И баба Лера жила в осознанном спокойствии, ни в чем не поступившись ни своими привычками, ни сложившимся укладом. Все так же затемно растопляла печь, носила воду, неторопливо завтракала, накрывая стол со всей возможной тщательностью,

и начинала готовить обед. На одного человека и ровно на один день, не позволяя уйти из обыденной жизни обыденному труду. Старательно убирала во всем доме, хотя ни сорить, ни следить более было некому, расчищала дорожки во дворе, а по вечерам читала, часто отрываясь и раздумывая о прочитанном, чтобы и это приятное занятие не превратилось исподволь в бездумную старческую привычку. Баба Лера прекрасно представляла все тайные козни старости, а потому старалась ни в чем не давать ей спуску. И только одно новшество допустила она в устоявшийся обиход: каждое утро, выйдя из дома, низко кланялась мысу, на котором лежала ее Аниша.

Зимние вечера оказались тягостно длинными. Если днем еще находилась работа, то к вечеру уже была перемыта последняя чашка и сожжено последнее полено. Чуть потрескивал фитиль лампы, скреблись мыши да шелестели страницы. И так шли дни.

С крещения характер зимы резко менялся: прибавлялось света и солнца, наливалось синевой небо и начинали все заметнее оживать птицы. Природа еще спала, но уже вздыхала и ворочалась, уже тронулись первые соки, уже накапливались, наливались, чтобы брызнуть непобедимой зеленой силой обновления. Калерия Викентьевна давно уловила этот ежегодный ритм, ждала его, веря, что пережила еще год, что теперь уж с каждым днем будет теплее, светлее и легче, что свет опять победил мрак и воскресил все живое. Но эти радостные признаки нынче не принесли ей привычного облегчения, а принесли беспокойство. Беспокойство ожидания, ибо ясно знала, что год этот — последний.

Так закончилась эта зима, прошла весна, а летом ушло и одиночество. Красногорские власти поставили ограду и крест на могиле Анисьи, школьники взяли шефство над бабой Лерой, регулярно навещали ее, приносили продукты. Появились туристы и рыбаки, экспедиции и отдыхающие, приехал на месяц я, наезжал Владислав из райцентра. Лето случилось тихим, солнечным, ягодным: последнее лето бабы Леры.

— Как же она зиму-то одна переживет, Владислав?

— Не будет она одна, не будет. Я ей очень милую старушку подыскал, бывшую учительницу. Вот проводит она своих внучат, и привезу я ее.

Владислав не успел привести милую старушку к бабе Лере. Намеревался в начале сентября, но девятого сентября 1974 года поздней ночью меня разбудил длинный междугородный звонок. Спросонок я долго ничего не мог разобрать: уж очень трещало в телефонной трубке, а голос Владислава был еле слышен.

— Бабу Леру убили...

— Что?.. Что ты сказал?..

— Следователь говорит, стол к чаю накрыт был. Она, значит, чайку дорогим гостям, а ее...

Он говорил еще долго, потому что я лишился голоса. Я пытался перебить его, о чем-то спросить, но мне пережало глотку.

— Представляешь, она — хлеба кусок, а ей...

— Поймали? Поймали, спрашиваю?

— В Котласе взяли с иконами. Три мешка икон тащил, вот его и приметили. Из-за икон, сволочь...

— Кто он?

— Фамилией интересуешься? Ну, так Морозов его фамилия, вот и все, что пока знаю. Вылетай на похороны.

Нас давно разъединили, в трубке звучали короткие гудки, а я все еще прижимал ее к уху. Долго прижимал, очень долго. Потом опустил на рычаг, прошел на кухню, достал почему-то кусок черного хлеба, положил его перед собой на стол и заплакал...

1980—1987



Олег ШЕСТИНСКИЙ

МОИМ БЛОКАДНЫМ ОДНОКЛАССНИКАМ

Мы, как взрослые, познав утраты
на пути трагическом своем,
все ж под именем детей блокады
в Русскую историю войдем.

Да, войдем... Я утверждаю точно,
ибо выпал каждому удел,
где и ад с жаровнею полночной
перед детской мукою бледнел.

Впрочем, что о славе и об аде!
Вечное и сущее пойми,—
мы ведь вырастали там, в блокаде,
стали неподкупными людьми!

Кем же мы сохранены с тобою,
что за силы нас, детей, спасли?
Вызволены армией, судьбою,
милосердием Большой земли.

Это правда. Но перед веками
правда стать обязана верней,—
спасены мы были матерями,
пусть не от скорбей, но от смертей.

Мы, их сыновья, в застолье встанем,
праздной речью не обманем их,
умерших — святой слезой помянем,
поцелуем — матерей живых.

Дорого застолье, но и пусто...
Сколько одногодков полегло,
не успевших сотворить искусство,
взвиться в небо, уничтожить зло!

На ветрах, губительных и резких,
не мемориальною порой
засыпали новых Лобачевских,
новых Пушкиных землей сырой.

Братья! Мы, как остров малолюдный,
где прошел великий бурелом,
неулыбчиво, дорогой трудной
в море человеческом плывем.

Братья! Время размышлять тревожно,
ибо можем мы лишь с тех высот
оценить, что в нашей жизни ложно,
и познать,— идем ли мы вперед?

ИСТОРИЯ

Нас и корежило, и мяло,
испытывало на излом...
Но как непостижимо мало
мы знаем о пути своем!

Не стану приводить примеры
того, о чем не знали мы.
А ведь без знанья — нету веры,
сердца печальны и умы.

Лишь об одном скажу...
Мы зрели,
в блокаду выжив, но опять
при страшном «ленинградском деле»
жизнь перестали понимать.

Ну, почему студент с протезом,
хвативший горькое житье,
вдруг причислялся к мракобесам
и исчезал в небытие?

Ну, почему в простор вселенский
уплыл из камеры тюрьмы
звездой
наш ректор Вознесенский.
Страдали мы. Молчали мы.

История! Ты нас возвысишь,
когда, сурова и проста,
с большою правдой к людям выйдешь,
разверзнешь сжатые уста.

История! Скажи о людях,
в свой час не понятых страной,
оставшихся в нелегких буднях,
оттуда машущих рукой.

За все, чем нынче знамениты,
помянем в строгой тишине
борцов, покинувших орбиты
совсем не по своей вине.

Не нужны бедные брюзжанья
и скопидомский счет потерь,
но и парадные бренчанья
невыносимы нам теперь.

История! Из нелюдимой
согбенной сборщицы вестей
стань пламенной, неукротимой
воительницей наших дней!

95 коп.

Индекс 73276



«Нева», 1988, № 2, 1—208